

И.Н. СТЫРКАС, Г.Ш. АБДУЛЛАЕВА, Р.Р. ТУМΠΑРОВ

Литература



II часть

Учебник-хрестоматия для 6 класса
школ общего среднего образования
с русским языком обучения

Издание 5-е, переработанное

*Утвержден
Министерством народного образования
Республики Узбекистан*

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ
АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ «SHARQ»
ТАШКЕНТ — 2017

УДК: 821.161.1
ББК 83.3 (2 Рос)-93
Л 64

Р е ц е н з е н т ы:

Корчуганова О.А. — зам.заведующего ОМООДУНО
Мирабадского района
Икрамова Ш.И. — учитель высшей категории
школы № 96 г. Ташкента

В учебнике-хрестоматии использованы иллюстрации
художников: *В. Васнецова, В. Гальдяева, П. Пинкесевича,*
М. Кустодиева, Н. Кошкина, С. Алимова, Л. Непомнящего,
Г. Никольского, Л. Башаровой

Обратите внимание!

Д — материал для дополнительного чтения

Издан за счет Республиканского целевого книжного фонда

Для использования в классе

Л 64 Литература: II часть. Учебник-хрестоматия для 6 класса
/ Авт.-сост.: И.Н. Стыркас, Г.Ш. Абдуллаева, Р.Р. Тумпаров. — Т.: «Sharq», 2017. — 160 с.
И. Стыркас И.Н., сост.

ISBN 978-9943-26-614-8

УДК: 821.161.1

ББК 83.3 (2 Рос)-93

ISBN 978-9943-26-614-8

© И.Н. Стыркас.
© Главная редакция
ИПАК «Sharq», 2005, 2008, 2009, 2013, 2017.

*Лев Николаевич
Толстой
(1828–1910)*



Лев Николаевич Толстой родился в старинной, богатой помещичьей семье, в родовой усадьбе Ясная Поляна Тульской губернии. Здесь Толстой близко увидел жизнь трудового народа, ставшего его «самой юной любовью», здесь он впервые услышал народные сказки, песни, былины. Уже в детские годы зародился у Толстого глубокий интерес к отечественной истории. В возрасте 9 лет он впервые побывал в Москве, впечатления от которой были живо переданы в детском сочинении «Кремль». Москва поразила будущего писателя своим величием и многолюдностью. Первый период московской жизни продолжался около четырех лет. Он рано осиротел, сначала скончалась мать, затем отец. С сестрой и тремя братьями он переезжает в Казань, где жила одна из отцовских сестер, ставшая их опекуной.

В Казани Толстой два с половиной года готовился к поступлению в университет, где с 1844 года учился сначала на восточном, а затем на юридическом факультетах. Он поражал своих учителей и однокурсников своими лингвистическими способностями. Он свободно владел английским, немецким, французским, читал на итальянском, польском, чешском. Изучал древнееврейский, турецкий, болгарский и

другие языки. Толстому шел девятнадцатый год, когда он начал вести дневник, который вел до конца своих дней.

В 1850 году Толстой отправляется в Москву, где началась его писательская деятельность. Его первое литературное произведение — это повесть из цыганского быта (осталась незаконченной) и описание одного прожитого дня. Тогда же была начата повесть «Детство».

Вскоре Толстой едет на Кавказ, где его старший брат Николай Николаевич служил в действующей армии. Поступив в армию юнкером, он сдал экзамен на младший офицерский чин. Эпизоды Кавказской войны Толстой описал в рассказах «Набег», «Рубка леса», «Метель», «Казаки». На Кавказе была завершена повесть «Детство», в 1852 году напечатанная в журнале «Современник». Толстой участвовал и в Крымской войне. За героизм и бесстрашие был награжден орденами и медалями.

Повесть «Детство» — это первая часть автобиографической трилогии, «Отрочество» — вторая часть, «Юность» — третья часть. В трилогии Толстой выразил стремление личности постичь свой внутренний мир. Через все творчество Толстого проходит тема мучительных поисков нравственного идеала, стремление приобщиться к естественной жизни народа, к природе.

Творчество Л. Н. Толстого было плодотворным. Он создал произведения, которые вошли в мировую классику: романы «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение» и многие другие.

Творчество Л. Н. Толстого оказало огромное влияние на развитие мировой литературы, оно отразило противоречия целой эпохи русского общества.

ДЕТСТВО

(Главы из повести в сокращении)

Г л а в а I

УЧИТЕЛЬ КАРЛ ИВАНЫЧ

12-го августа 18..., ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопущкой — из сахарной бумаги на палке — по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок¹ моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Иваныча.

«Положим, — думал я, — я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? Вон их сколько! Нет, Володя старше меня, а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, — прошептал я, — как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает... противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка — какие противные!»

В то время как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Иваныча, он подошел к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над нею в шитом бисерном башмачке, повесил хлопущку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа повернулся к нам.

— Auf, kinder, auf!.. s'ist Zeit. Die Mutter ist schon im Saal², — крикнул он добрым немецким голосом, потом он

¹ *Образок* — миниатюрное изображение в виде иконы кого-либо из святых.

² Вставать, дети, вставать!.. — пора. Мать уже в зале (нем.).

подошел ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иванович сначала понюхал, утер нос, щелкнул пальцами и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки. — Nu, nun, Faulenzer!¹ — говорил он.

Как я ни боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушку, изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха.

«Какой он добрый и как нас любит, а я мог так дурно о нем думать!»

Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Ивановича, хотелось смеяться и хотелось плакать: нервы были расстроены.

— Ach, lassen Sie², Карл Иванович! — закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек.

Карл Иванович удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня: о чем я? Не видел ли я чего дурного во сне?.. Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее: мне было совестно, и я не помнил, как за минуту перед тем мог не любить Карла Ивановича и находить противными его халат, шапочку и кисточку; теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу оттого, что видел дурной сон — будто мама умерла и ее несут хоронить. Все это я выдумал, потому что решительно не понимал, что мне снилось в эту ночь, но когда Карл Иванович, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины.

— Sind sie bald fertig?³ — послышался из классной голос Карла Ивановича.

¹ Ну, ну, лентяй! (нем.).

² Ах, оставьте (нем.).

³ Скоро ли вы будете готовы? (нем.).

Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слез. В классной Карл Иванович был совсем другой человек: он был наставник. Я живо оделся, умылся и, еще с щеткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов.

Карл Иванович, с очками на носу и книгой в руке, сидел на своем обычном месте, между дверью и окошком. <...>

Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером¹, бросавшим тень на его лицо; в одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресла; подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, черная круглая табакерка, зеленый футляр для очков, щипцы на лоточке. Все это так чинно, аккуратно лежит на своем месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Ивановича совесть чиста и душа покойна.

Бывало, как досыта набегаясь внизу по зале, на цыпочках прокрадешься наверх, в классную, смотришь — Карл Иванович сидит себе один на своем кресле и с спокойно-величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг.

Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю: «Бедный, бедный старик! Нас много, мы играем, нам весело, а он — один-одинешенек, и никто-то его не приласкает. Правду он говорит, что он сирота. <...>

Бывало, покуда поправляет Карл Иванович лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говор и смех; так сделается досадно, что нельзя там быть и думаешь: «Когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду

¹ *Кружок с парикмахером* — небольшой поднос с набором для бритья.

сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю?» Досада перейдет в грусть и, бог знает, отчего и о чем, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иванович сердится за ошибки.

Карл Иванович снял халат, надел синий фрак с возвышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повел нас вниз — здороваться с матушкой.

Г л а в а II

МАМАН

Матушка сидела в гостиной и разливала чай; одной рукой она придерживала чайник, другою — кран самовара, из которого вода текла через верх чайника на поднос. Но хотя она смотрела пристально, она не замечала и того, что мы вошли.

Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какою она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь, родинка на шее, немного ниже того места, где выются маленькие волосики, шитый белый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал, но общее выражение ускользает от меня. <...>

Карл Иванович, по своему обыкновению, с немецким приветствием подошел прямо к ручке матушки. Она опомнилась, тряхнула головой, как будто желая этим движением отогнать грустные мысли, подала руку Карлу Ивановичу и поцеловала его в морщинистый висок, в то время как он целовал ее руку.

— Ich danke, lieber¹ Карл Иванович, — и, продолжая говорить по-немецки, она спросила: — Хорошо ли спали дети? <...>

Когда матушка улыбалась, как ни хорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше, и кругом все как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе. Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что называют красотой лица: если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно; если она не изменяет его, то оно дурно.

Поздоровавшись со мною, татап взяла обеими руками мою голову и откинула ее назад, потом посмотрела пристально на меня и сказала:

— Ты плакал сегодня?

Я не отвечал. Она поцеловала меня в глаза и по-немецки спросила:

— О чем ты плакал?

Когда она разговаривала с нами дружески, она всегда говорила на этом языке, который знала в совершенстве.

— Это я во сне плакал, татап, — сказал я, припоминая со своими подробностями выдуманный сон и невольно содрогаясь при этой мысли. <...>

— Ну, ступайте теперь к папа, дети, да скажите ему, чтобы он непременно ко мне зашел, прежде чем пойдет на гумно².

Музыка, считанье и грозные взгляды опять начались, а мы пошли к папа. Пройдя комнату, удержавшую еще от времен дедушки название официантской, мы вошли в кабинет.

¹ Благодарю, милый (нем.).

² Гумно — площадка, где складывали скошенную траву.

Г л а в а ІІІ

ПАПА

Он стоял подле письменного стола и, указывая на какие-то конверты, бумаги и кучки денег, горячился и с жаром толковал что-то приказчику Якову Михайлову, который, стоя на своем обычном месте, между дверью и барометром, заложив руки за спину, очень быстро и в разных направлениях шевелил пальцами.

Чем больше горячился папа, тем быстрее двигались пальцы, и, наоборот, когда папа замолкал, и пальцы останавливались; но когда Яков сам начинал говорить, пальцы приходили в сильнейшее беспокойство и отчаянно прыгали в разные стороны.

Увидев нас, папа только сказал:

— Погодите, сейчас.

И показал движением головы дверь, чтобы кто-нибудь из нас затворил ее.

— Ах, боже мой милостивый! Что с тобой нынче, Яков? — продолжал он к приказчику, подергивая плечом (у него была эта привычка). — Этот конверт со вложением восьмисот рублей...

Яков подвинул счеты, кинул восемьсот и устремил взоры на неопределенную точку, ожидая, что будет дальше. <...>

Яков был крепостной, весьма усердный и преданный человек; он, как и все хорошие приказчики, был до крайности скуп за своего господина и имел о выгодах господских самые странные понятия. Он вечно заботился о приращении собственности госпожи, стараясь доказывать, что необходимо употреблять все доходы с ее имений на Петровское (село, в котором мы жили). В настоящую минуту он торжествовал, потому что совершенно успел в этом.

Поздоровавшись, папа сказал, что будет нам в деревне баклуши бить, что мы перестали быть маленькими и что пора нам серьезно учиться.

— Вы уже знаете, я думаю, что я нынче в ночь еду в Москву и беру вас с собою, — сказал он. Вы будете жить у бабушки, а маман с девочками остается здесь. И вы это знаете, что одно для нее будет утешение — слышать, что вы учитесь хорошо и что вами довольны.

Хотя по приготовлениям, которые за несколько дней заметны были, мы уже ожидали чего-то необыкновенного, однако новость эта поразила нас ужасно. Володя покраснел, и дрожащим голосом передал поручение матушки.

«Так вот что предвещал мне мой сон! — подумал я, — дай бог только, чтобы не было чего-нибудь еще хуже».

Мне очень, очень жалко стало матушку, и вместе с тем мысль, что мы точно стали большие, радовала меня.

«Ежели мы нынче едем, то верно, классов не будет; это славно! — думал я. — Однако жалко Карла Ивановича. Его, верно, отпустят, потому что иначе не приготовили бы для него конверта... Уж лучше бы век учиться да не уезжать, не расставаться с матушкой и не обижать бедного Карла Ивановича. Он и так очень несчастлив!»

Мысли эти мелькали в моей голове; я не трогался с места и пристально смотрел на черные бантики своих башмаков.

Г л а в а XI

ЗАНЯТИЯ В КАБИНЕТЕ И ГОСТИНОЙ

Уже смеркалось, когда мы приехали домой. Маман села за рояль, а мы, дети, принесли бумаги, карандаши, краски и расположились рисовать около круглого стола. У меня была только синяя краска, но, несмотря на это, я затеял нарисовать охоту. Очень живо изобразив синего мальчика верхом на синей лошади и синих собак, я не знал наверное, можно ли нарисовать синего зайца и побежал к папа в кабинет посоветоваться об этом. Папа читал что-то и на вопрос мой: «Бывают ли синие зайцы?», не поднимая головы, отвечал: «Бывают, мой друг, бывают». <...>

Мамап играла второй концерт Фильда — своего учителя. Я дремал, и в моем воображении возникали какие-то легкие, светлые и прозрачные воспоминания. Она заиграла патетическую сонату Бетховена, и я вспоминал что-то грустное, тяжелое и мрачное. Мамап часто играла эти две пьесы; поэтому я очень хорошо помню чувство, которое они во мне возбуждали. Чувство это было похоже на воспоминания; но воспоминания чего? Казалось, что вспоминаешь то, чего никогда не было.

Против меня была дверь в кабинет, и я видел, как туда вошли Яков и еще какие-то люди в кафтанах и с бородами. Карл Иванович, на цыпочках, но с лицом мрачным и решительным, с какими-то записками в руке, подошел к двери и слегка постучался. Его впустили, и дверь опять захлопнулась.

«Как бы не случилось какого-нибудь несчастья, — подумал я, — Карл Иванович рассержен: он на все готов...»

Я опять задремал.

Однако несчастья никакого не случилось: через час времени меня разбудил тот же скрип сапог. Карл Иванович, утирая платком слезы, которые я заметил на его щеках, вышел из двери и, бормоча что-то себе под нос, пошел наверх. Вслед за ним вышел папа и вошел в гостиную.

— Знаешь, что я сейчас решил? — сказал он веселым голосом, положив руку на плечо мамап.

— Что, мой друг?

— Я беру Карла Ивановича с детьми. Место в бричке есть. Они к нему привыкли, и он к ним, кажется, точно привязан, а семьсот рублей в год никакого счета не делают, et puis au fond c'est un tres bon diable¹.

— Я очень рада, — сказала мамап, — за детей, за него: он славный старик.

— Если бы ты видела, как он был тронут, когда я ему сказал, чтобы он оставил эти пятьсот рублей в виде подар-

¹ и потом, в сущности, он славный малый (франц.).

ка... но что забавнее всего — это счет, который он принес мне. Это стоит посмотреть, — прибавил он с улыбкой, подавая ей записку, написанную рукою Карла Ивановича, — прелесть!

Вот содержание этой записки:

«Для детей два удочка — 70 копек.

Цветной бумага, золотой коемочка, клестир и болван для коробочка, в подарках — 6 р. 55 к.

Книга и лук, подарка детям — 8 р. 16 к.

Панталон Николаю — 4 рубли.

Обещаны Петром Алексантровичь из Москву в 18... году золотые часы в 140 рублей.

Итого следует получить Карлу Мауеру, кроме жалования¹ — 159 рублей 79 копеек».

Прочтя эту записку, в которой Карл Иванович требует, чтобы ему заплатили все деньги, издержанные им на подарки, и даже заплатили бы за обещанный подарок, всякий подумает, что Карл Иванович больше ничего, как бесчувственный и корыстолюбивый себялюбец, — и всякий ошибется.

Войдя в кабинет с записками в руке и с приготовленной речью в голове, он намеревался красноречиво изложить перед папа все несправедливости, претерпанные им в нашем доме; но когда он начал говорить тем же трогательным голосом и с теми же чувствительными интонациями, с которыми он обыкновенно диктовал нам, его красноречие подействовало сильнее всего на него самого; так что, дойдя до того места, в котором он говорил: «как ни грустно мне будет расстаться с детьми», он совсем сбился, голос его задрожал, и он принужден был достать из кармана клетчатый платок.

— Да, Петр Александрыч, — сказал он сквозь слезы (это-го места совсем не было в приготовленной речи), — я так привык к детям, что не знаю, что буду делать без них.

¹ *Жалованье* — оплата за труд.

Лучше я без жалованья буду служить вам, — прибавил он, одной рукой утирая слезы, а другой подавая счет.

Что Карл Иванович в эту минуту говорил искренно, это я утвердительно могу сказать, потому что знаю его доброе сердце; но каким образом согласовался счет с его словами, остается для меня тайной.

Г л а в а XV

ДЕТСТВО

Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений.

Набегавшись досыта, сидишь, бывало, за чайным столом, на своем высоком креслице; уже поздно, давно выпил свою чашку молока с сахаром, сон смыкает глаза, но не трогаешься с места, сидишь и слушаешь. И как не слушать? Мамап говорит с кем-нибудь и звуки голоса ее так сладки, так приветливы. Одни звуки эти так много говорят моему сердцу! Отуманенными дремотой глазами я пристально смотрю на ее лицо, и вдруг она сделалась вся маленькая, маленькая — лицо ее не больше пуговики, но оно мне все так же ясно видно: вижу, как она взглянула на меня и как улыбнулась. Мне нравится ее видеть такой крошечной. Я прищуриваю глаза еще больше, и она делается не больше тех мальчиков, которые бывают в зрачках, но я пошевелился, и очарование разрушилось. Я суживаю глаза, поворачиваюсь, всячески стараюсь возобновить его, но напрасно.

Я встаю, с ногами забираюсь и уютно укладываюсь на кресло.

— Ты опять заснешь, Николенька, — говорит мне мамап, — ты бы лучше шел наверх.

— Я не хочу спать, мамаша, — ответишь ей, и не ясные, но сладкие грезы наполняют воображение, здоровый детский

сон смыкает веки и через минуту забудешься и спишь до тех пор, пока не разбудят. Чувствуешь, бывало, впросонках, что чья-то нежная рука трогает тебя, по одному прикосновению знаешь ее и еще во сне невольно схватишь эту руку и крепко, крепко прижмешь ее к губам.

Все уже разошлись, одна свеча горит в гостиной, мама сказала, что она сама разбудит меня. Это она присела на кресло, на котором я сплю, своей чудесной нежной ручкой провела по моим волосам, и над ухом моим звучит милый знакомый голос:

— Вставай, моя душечка, пора идти спать.

Ничьи равнодушные взоры не стесняют ее, она не боится излить на меня всю свою нежность и любовь. Я не шевелюсь, но еще крепче целую ее руку.

— Вставай же, мой ангел.

Она другой рукой берет меня за шею, и пальчики быстро шевелятся и щекотят меня. В комнате тихо, полутемно, нервы мои возбуждены щекоткой и пробуждением; мамаша подле самого меня, я слышу ее запах и голос. Все это заставляет меня вскочить, обвить руками ее шею, прижать голову к ее груди и, задыхаясь, сказать:

— Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю!

Она улыбается своей грустной, очаровательной улыбкой, берет обеими руками мою голову, целует меня в лоб и кладет к себе на колени.

— Так ты меня очень любишь? — Она молчит с минуту, потом говорит: — Смотри, всегда люби меня, никогда не забывай. Если не будет твоей мамаша, ты не забудешь ее? Не забудешь, Николенька?



Она еще нежнее целует меня.

После молитвы завернешься, бывало, в одеяльце, на душе легко, светло и отрадно, одни мечты гонят другие, но о чем они? Они неуловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами на светлое счастье. Вспомнишь, бывало, о Карле Иваныче и его горькой участи — единственном человеке, которого я знал несчастливым, и так жалко станет, так полюбишь его, что слезы потекут из глаз, и думаешь: «Дай бог ему счастья, дай мне возможность помочь ему, облегчить его горе, я всем готов для него пожертвовать». Еще помолишься о том, чтобы дал бог счастья всем, чтобы все были довольны и чтобы завтра была хорошая погода для гулянья, повернешься на другой бок, мысли и мечты перепутаются, смешаются и уснешь тихо, спокойно, еще с мокрым от слез лицом.

Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели — невинная веселость и беспредельная потребность любви — были единственными побуждениями в жизни?

Г л а в а XXV

ПИСЬМО

Шестнадцатого апреля отец вошел к нам наверх и объявил, что нынче в ночь мы едем с ним в деревню. Что-то защемило у меня в сердце при этом известии, и мысль моя тотчас же обратилась к матушке.

Причиной такого неожиданного отъезда было следующее письмо:

Петровское, 12 апреля.

«Сейчас только, в десять часов вечера, получила я твое доброе письмо, от 3 апреля, и, по моей всегдашней привычке, отвечаю тотчас же. Федор привез его еще вчера из города, но так как было поздно, он подал его Мими нынче утром. Мими же, под предлогом, что я была нездорова и

расстроена, не давала мне его целый день. У меня точно был маленький жар, и, признаться тебе по правде, вот уж четвертый день, что я не так-то здорова и не встаю с постели.

Пожалуйста, не пугайся, милый друг: я чувствую себя довольно хорошо и, если Иван Васильевич позволит, завтра думаю встать.

В пятницу на прошлой неделе я поехала с детьми кататься, но подле самого выезда на большую дорогу, около того мостика, который всегда наводил на меня ужас, лошади завязли в грязи. День был прекрасный, и мне вздумалось пройтись пешком до большой дороги, покуда вытаскивали коляску. Дойдя до часовни, я очень устала и села отдохнуть, а так как, покуда собирались люди, чтоб вытащить экипаж, прошло около получаса, мне стало холодно, особенно ногам, потому что на мне были ботинки на тонких подошвах и я их промочила. После обеда я почувствовала озноб и жар, но, по заведенному порядку, продолжала ходить, а после чаю села играть с Любочкой в четыре руки. (Ты не узнаешь ее: такие она сделала успехи!) Но представь себе мое удивление, когда я заметила, что не могу счесть такта. Несколько раз я принималась считать, но все в голове у меня решительно путалось, и я чувствовала странный шум в ушах. Я считала: раз, два, три, потом вдруг: восемь, пятнадцать и главное — видела, что вру, и никак не могла поправиться. Наконец Мими пришла мне на помощь и почти насильно уложила в постель. <...>

Ты пишешь мне еще о детях и возвращаешься к нашему давнишнему спору: просишь меня согласиться на то, чтобы отдать их в учебное заведение. Ты знаешь мое предубеждение против такого воспитания...

Не знаю, милый друг, согласишься ли ты со мною; но, во всяком случае, умоляю тебя, из любви ко мне, дать мне обещание, что, покуда я жива и после моей смерти, если богу угодно будет разлучить нас, этого никогда не будет.

Ты мне пишешь, что тебе необходимо будет съездить в Петербург по нашим делам. Христос с тобой, мой дружок, поезжай и возвращайся поскорее. Нам всем без тебя так скучно! Весна чудо как хороша: балконную дверь уж выставили, дорожка к оранжерее четыре дня тому назад была совершенно суха, персики во всем цвету, кой-где только остался снег, ласточки прилетели, и нынче Любочка принесла мне первые весенние цветы. Доктор говорит, что дня через три я буду совсем здорова и мне можно будет подышать свежим воздухом и погреться на апрельском солнышке. Прощай же, милый друг, не беспокойся, пожалуйста, ни о моей болезни, ни о своем проигрыше; кончай скорей дела и приезжай к нам с детьми на целое лето. Я делаю чудные планы о том, как мы проведем его, и недостает только тебя, чтобы им осуществиться».

Следующая часть письма была написана по-французски, связным и неровным почерком, на другом клочке бумаги. Я перевожу его слово в слово:

«Не верь тому, что я писала тебе о моей болезни: никто не подозревает, до какой степени она серьезна. Я одно знаю, что мне больше не вставать с постели. Не теряй ни одной минуты, приезжай сейчас же и привози детей. Может быть, я успею еще раз обнять тебя и благословить их: это мое одно последнее желание. Я знаю, какой ужасный удар наносу тебе; но все равно, рано или поздно, от меня или от других, ты получил бы его; постарайся же с твердостью и надеждою на милосердие божие перенести это несчастье. Покоримся воле его.

Кончится ли вместе с жизнью моя любовь к тебе и детям? Я поняла, что это невозможно. Я слишком сильно чувствую в эту минуту, чтобы думать, что то чувство, без которого я не могу понять существования, могло бы когда-нибудь уничтожиться. Душа моя не может существовать без любви к вам: а я знаю, что она будет существовать вечно, уже по одному тому, что такое чувство, как моя любовь, не мог-

ло бы возникнуть, если бы оно должно было когда-нибудь прекратиться.

Меня не будет с вами, но я твердо уверена, что любовь моя никогда не оставит вас, и эта мысль так отрадна для моего сердца, что я спокойно и без страха ожидаю приближающейся смерти.

Я не могу писать больше от слез. Может быть, я не увижу тебя. Благодарю же тебя, мой бесценный друг, за все счастье, которым ты окружил меня в этой жизни; я там буду просить бога, чтобы он наградил тебя. Прощай, милый друг; помни, что меня не будет, но любовь моя никогда и нигде не оставит тебя. Прощай, Володя, прощай, мой ангел, прощай, Веньямин — мой Николенька.

Неужели они когда-нибудь забудут меня?!» <...>

Г л а в а XXVIII

ПОСЛЕДНИЕ ГРУСТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Мамап уже не было, а жизнь наша шла все тем же чередом: мы ложились и вставали в те часы и в тех же комнатах; утренний, вечерний чай, обед, ужин — всё было в обыкновенное время; столы, стулья стояли на тех же местах; ничего в доме и в нашем образе жизни не переменилось; только ее не было...

Накануне погребения, после обеда, мне захотелось спать, и я пошел в комнату Натальи Савишны, рассчитывая поместиться в ее постели, на мягком пуховике, под теплым стеганым одеялом. Когда я вошел, Наталья Савишна лежала на своей постели и, должно быть, спала, услышав шум моих шагов, она приподнялась, откинула шерстяной платок, которым от мух была покрыта ее голова, и, поправляя чепец, услась на край кровати.

Мне хотелось поговорить с Натальей Савишной о нашем несчастье, я знал ее искренность и любовь, и потому плакать с нею было для меня отрадой.

— Наталья Савишна, — сказал я, помолчав немного и усаживаясь на постель, — ожидали ли вы этого?

Старушка посмотрела на меня с недоумением и любопытством, должно быть не понимая, для чего я спрашиваю у нее это.

— Кто мог ожидать этого? — повторил я.

— Ах, мой батюшка, — сказала она, кинув на меня взгляд самого нежного сострадания, — не то, чтобы ожидать, а я и теперь подумать-то не могу. Ну уж мне, старухе, давно бы пора сложить старые кости на покой, а вот до чего довелось дожить: старого барина — вашего дедушку, вечная память, князя Николая Михайловича, двух братьев, сестру Аннушку, всех схоронила, и все моложе меня были, мой батюшка, а вот теперь, видно за грехи мои, и ее пришлось пережить. Его святая воля! Он затем и взял ее, что она достойна была, а ему добрых там и нужно.

Эта простая мысль отраднo поразила меня, и я ближе придвинулся к Наталье Савишне. Она сложила руки на груди и взглянула кверху, впалые влажные глаза ее выражали великую, но спокойную печаль. Она твердо надеялась, что бог ненадолго разлучил ее с той, на которой столько лет была сосредоточена вся сила ее любви.

— Да, мой батюшка, давно ли, кажется, я ее еще нянчила, пеленала и она меня Нашей называла. Бывало, прибежит ко мне, обхватит ручонками и начнет целовать и приговаривать:

— Нашик мой, красавчик мой, индюшечка ты моя.

А я, бывало, пошучу — говорю:

— Неправда, матушка, вы меня не любите, вот дай только вырастете большие, выдете замуж и Нашу свою забудете. Она, бывало, задумается. «Нет, — говорит, — я лучше замуж не пойду, если нельзя Нашу с собой взять, я Нашу никогда не покину». А вот покинула же и не дождалась. И любила же она меня, покойница! Да кого она и не любила, правду сказать! Да, батюшка, вашу маменьку вам забывать

нельзя, это не человек был, а ангел небесный. Когда душа ее будет в царствии небесном, она и там будет вас любить и там будет на вас радоваться.

Долго еще говорила она в том же роде и говорила с такой простотою и уверенностью, как будто рассказывала вещи самые обыкновенные, которые сама видала и насчет которых никому в голову не могло прийти ни малейшего сомнения. Я слушал ее, притаив дыхание, и хотя не понимал хорошенько того, что она говорила, верил ей совершенно.

— Да, батюшка, теперь она здесь, смотрит на нас, слушает, может быть, что мы говорим,— заключила Наталья Савишна.

Она не могла больше говорить, отвернулась от меня и громко зарыдала.

Я не думал уже спать, мы молча сидели друг против друга и плакали. <...>

Беседы с Натальей Савишной повторялись каждый день, ее тихие слезы и спокойные набожные речи доставляли мне отраду и облегчение.

Но скоро нас разлучили: через три дня после похорон мы всем домом приехали в Москву, и мне суждено было никогда больше не видеть ее.

Вопросы и задания

1. Что вы узнали о жизни и творчестве Л. Н. Толстого?
2. Понравилась ли вам повесть «Детство» и ее герои?

I. Разберемся в прочитанном

1. Подумайте, счастливое ли детство было у Николеньки.
2. Какую роль играл Карл Иванович в воспитании Николеньки? Как относился мальчик к своему учителю? Подберите наиболее подходящие слова и выражения, передающие чувства Николеньки по отношению к Карлу Ивановичу: уважение, жалость, сочувствие, раздражение, доброта.

3. Почему Николенька любил незаметно наблюдать за Карлом Ивановичем? Что, по мнению мальчика, свидетельствовало о том, «что у Карла Иваныча совесть чиста и душа покойна»?

4. Проследите, как у мальчика проявляются сыновние чувства по отношению к матери, отцу. Что вам понравилось в отношениях родителей и детей?

5. Как раскрывается характер мальчика в разных жизненных ситуациях? (Отметьте его поведение во время занятий, в играх, в самые тяжелые и скорбные минуты).

6. Найдите в тексте отрывки, в которых раскрывается огромное чувство любви мальчика к своей матери. Выпишите понравившиеся вам предложения.

7. Как объяснила Наталья Савишна Николеньке кончину его матери? Что в ее словах понравилось мальчику и немного успокоило его?

II. Будьте внимательны к художественному слову

1. Выделите портретные описания Карла Ивановича, матери Николеньки, Натальи Савишны. Помогают ли описания внешности узнать что-либо об их характере, поведении, отношении к другим персонажам?

2. Как автору удается передать разницу в поведении Карла Ивановича в обычной обстановке и в классной комнате, когда он выступает в роли учителя? Свой ответ подтвердите выдержками из текста.

3. Повествование ведется от имени мальчика Николеньки. Как вы считаете, для чего писатель выбрал этот прием для описания событий и героев?

III. Развитие речи

1. Напишите сочинение о ваших родителях. Постарайтесь выразить в нём отношение к своим родителям и близким.

2. Что вам известно о традициях узбекской семьи? Какие нравственные ценности закладываются в семье?

Антон Павлович
Чехов
(1860–1904)



В историю русской литературы Антон Павлович Чехов вошел как гениальный мастер короткого рассказа и лирико-психологической пьесы.

Писать рассказы Чехов начал будучи студентом Московского университета. Чехов готовился стать врачом, но литература «перетягивала». И вот в юмористическом журнале «Стрекоза» появляются его первые рассказы, подписанные веселым именем Антоша Чехонте. Рассказы были забавные и смешные. Они поражали читателя не только неистощимой выдумкой, но и реальными зарисовками, ситуациями, удивительно тонко подмеченными писателем.

Юмор многих рассказов молодого Чехова построен на неожиданной сюжетной развязке. Вот «Случай из судебной практики». Знаменитый адвокат держит речь в защиту подсудимого — вора и мошенника Шельмецова. Говорит адвокат трогательно. Публика волнуется. Кое-кто плачет, одна женщина упала в обморок. Даже у прокурора слезы на глазах. Но в самый последний момент, когда казалось, что Шельмецова оправдают, он встает, растроганный речью адвоката, плачет и кричит: «Виноват! Сознаю свою вину! Украл и мошенства строил!»

Удивительно, что писатель берет за основу сюжета какую-либо обыкновенную «картинку из жизни». И если передать

содержание этого эпизода, то он ничем не привлечет особого внимания. Но мастер художественного слова А. П. Чехов умеет так использовать незаметные детали, что, соединяясь в художественный образ, они становятся очень смешными, создают определенное настроение и впечатление.

Во многих рассказах Чехова звучит насмешка, то мягкая, то грустная, но порой она переходит в гневное обличение пошлости, угодничества, подхалимства.

В произведениях Чехова присутствует не только юмор, но и сатира, то есть резкое осмеяние отрицательных явлений жизни. Таковы, например, рассказы «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Ионыч».

Обычно в рассказах Чехова немного действующих лиц. Но они яркие, колоритные и достоверные. Чехов наделяет своих героев забавными именами и прозвищами, двумя-тремя штрихами создает их внешний облик, передает манеру говорить, вести себя в различных комических «неудобных» ситуациях.

Может показаться, что автору таких веселых рассказов живется легко и беззаботно. На самом деле литературный труд очень нелегок. Сам Чехов признавался, что в начале литературной деятельности писал рассказы поспешно — каждый день по рассказу — нужно было зарабатывать, помогать большой семье, которая жила в нужде. А платили за рассказы не так уж и много. Но большая любовь к жизни, творчеству побеждали все трудности.

Позже в творчестве писателя появятся и другие произведения, поднимающие серьезные проблемы.

В 1886 году Чехов получил от старого русского писателя Григоровича письмо, в котором тот просил Чехова уважать свой талант, не писать безделушек.

Крупный писатель увидел в молодом Чехове надежду русской литературы.

Чехов очень рад — большой писатель признал в нем талант! Антон Павлович чуть не плачет от радости и благодарности за теплые слова. И он решает серьезно работать.

В таком настроении Чехов начал повесть о степи — о ее людях, птицах, грозах... Ему хотелось, чтобы читатель полюбил степь, как он полюбил ее еще в детстве. Героем своей повести Чехов сделал девятилетнего мальчика Егорушку, который едет в город на учебу.

Чистыми глазами ребенка смотрит Чехов на людей, на мир. И мы вместе с Егорушкой видим красоту края, встречаемся с людьми из народа. Они добры, ласковы с мальчиком. Но жизнь их тяжела. Так, в повести «Степь» переплетаются две темы — тема красоты родной земли и грустная тема обездоленности народа, его тоска по счастью.

Это произведение принесло Чехову известность. А потом появились и другие серьезные раздумья писателя о жизни.

Вопросы и задания

1. Что вы узнали о творчестве А. П. Чехова?
2. О чем писал Чехов в своих ранних рассказах?
3. Какой псевдоним избрал себе Чехов? Подумайте, соответствует ли псевдоним (литературное имя А.П.Чехова) «Антоша Чехонте» настроению первых рассказов писателя.

ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ

На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом¹ и флердоранжем². Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын.

¹ *Херес* — марочное вино.

² *Флердоранж* — цветок с нежным запахом (здесь имеется в виду цветочный одеколон).

— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого. — Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!

— Батюшки! — изумился тонкий. — Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?

Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.

— Милый мой! — начал тонкий после лобызания. — Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь... Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах... лютеранка¹... А это сын мой, Нафанаил, ученик третьего класса. Это, Нафания, друг моего детства! В гимназии вместе учились!

Нафанаил немного подумал и снял шапку.

— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий. — Помнишь, как тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо... Детьми были! Не бойся, Нафания, подойди к нему поближе... А это моя жена, урожденная Ванценбах... лютеранка.

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.

— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга. — Служишь где? Дослужился?

— Служу, милый мой! Коллежским ассессором уже второй год и Станислава имею². Жалованье плохое... ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробиваемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству... Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось уже статский? А?

¹ Лютеранка — католичка (религиозная вера).

² Станислава имею — орден Станислава в России XIX в.



— Нет, милый мой, поднимай повыше,— сказал толстый.— Я уже до тайного дослужился¹... Две звезды имею.

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговицы своего мундира...

— Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.

— Ну, полно! — поморщился толстый.— Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему это чинопочитание!

— Помилуйте... Что вы-с... — захихикал тонкий, еще более съезживаясь. — Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги... Это вот,

¹ До тайного дослужился — высокая должность в министерстве.

ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благочестия, сладости и почти-тельной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «Хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.

Вопросы и задания

I. Что вы поняли, прочитав рассказ?

1. Какое впечатление сложилось у вас от описания встречи двух бывших одноклассников?
2. Чего достигли в жизни толстый и тонкий?

II. Поразмышляем над рассказом

1. Обратитесь к названию рассказа. Какое противопоставление в нем заложено? Только ли разницу в «весовых категориях» хотел подчеркнуть писатель?

2. Сопоставьте диалог (обмен восклицаниями и репликами) в начале рассказа и в последующей части. Когда произошел «перелом» в настроении тонкого? Как это отразилось в обращении к старому приятелю?

3. Подумайте, как относится автор к своим героям? Что осуждает Чехов в поведении тонкого?

III. Будьте внимательны к художественному слову

1. В начале рассказа писатель вместо портретной характеристики приводит только «запахи» героев. (От толстого пахло хересом и флердоранжем, т.е. дорогим вином и хорошим одеколоном, а от тонкого «пахло ветчиной и кофейной гущей» (не кофе, а кофейной гущей). Помогает ли создать такой прием сравнения определенное восприятие героев и почувствовать разницу в их социальном статусе (положении)?

2. Проанализируйте следующий отрывок: «Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговицы своего мундира...»

Какие детали использовал Чехов, чтобы передать состояние «шока», в котором оказались тонкий и его семья после сообщения толстого о своей должности?

IV. Для самостоятельной работы

Подготовьте чтение рассказа по ролям. Попробуйте разыграть рассказ как сценку.

ХИРУРГИЯ

Земская больница¹. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, в поношенной чесучовой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами его руки — сигара, распространяющая зловоние.

В приемную входит дьячок² Вонмигласов, высокий, коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрит, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыл с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору³ и с поклоном кладет ее перед фельдшером.

¹ *Земская больница* — здесь: небольшая сельская больница.

² *Дьячок* — служитель в церкви.

³ *Просфора* — белый хлебец особой формы, употребляемый в православном богослужении.

— А-а-а... мое вам! — зевает фельдшер. — С чем пожаловали?

— С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич... К вашей милости... Истинно и правдиво в псалтыри сказано, извините: «Питие мое с плачем растворях¹». Сел намеренно со старухой чай пить и — ни боже мой, ни капельки, ни синь-порох, хоть ложись да помирай... Хлебнешь чуточку — и силы моей нету! А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону... Так и ломит, так и ломит! В ухо отдаёт, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет: так и стреляет, так и стреляет! За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи! Отец иерей² после литургии упрекает: «Косноязычен ты, Ефим, и груб стал. Поешь, и ничего у тебя не разберешь». А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя, все распухши, извините, и ночь не спавши...

— Мда... Садитесь... Раскройте рот!

Вонмигласов садится и раскрывает рот.

Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом.

— Отец диакон велели водку с хреном прикладывать — не помогло. Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы да велели теплым молоком зуб полоскать, а я, признаться, ниточку то надел, а в отношении молока не соблюл: бога боюсь, пост...

— Предрассудок... (Пауза.) Вырвать его нужно, Ефим Михеич!

— Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и обучены, чтоб это дело понимать как оно есть, что вырвать, а что каплями или прочим чем... На то вы, благодетели, и

¹ «Питие мое с плачем растворях» (церк.-слав.) — Я смешиваю со слезами то, что пью.

² Отец иерей — священник.

поставлены, дай бог вам здоровья, чтоб мы за вас денно и ночью, отцы родные... По гроб жизни...

— Пустяки... — скромничает фельдшер, подходя к шкафу и роясь в инструментах. — Хирургия — пустяки... Тут во всем привычка, твердость руки... Раз плюнуть... Намедни тоже, вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иванович Египетский... Тоже с зубом... Человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что. Руку пожимает, по имени и отчеству... В Петербурге семь лет жил, всех профессоров перенюхал... Долго мы с ним тут... Христом-богом молит: вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич! Отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо, без понятия нельзя... Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, а другой козьею ножкой¹, третий ключом... Кому как.

Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее просительно, потом кладет и берет щипцы.

— Ну-с, раскройте рот пошире... — говорит он, подходя с щипцами к дьячку. — Сейчас мы его... тово... Раз плюнуть... Десну подрезать только... тракцию сделать по вертикальной оси... и все... (подрезывает десну) и все...

— Благодетели вы наши... Нам, дуракам, и невдомек, а вас господь просветил...

— Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт... Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки... Этот — раз плюнуть... (Накладывает щипцы.) Пойдите, не дергайтесь... Сидите неподвижно... В мгновение ока... (Делает тракцию.) Главное, чтоб поглубже взять (тянет)... чтоб коронка не сломалась...

— Отцы наши... Мать пресвятая... Ввв...

— Не тово... не тово... как его? Не хватайте руками! Пустите руки! (Тянет.) Сейчас... Вот, вот... Дело-то ведь не легкое...

¹ Козья ножка — инструмент для удаления зубов.

— Отцы... радетели¹... (Кричит.) Ангелы! Ого-го... Да дергай же, дергай! Чего пять лет тянешь?

— Дело-то ведь... хирургия... Сразу нельзя... Вот, вот...

Вонмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит... На багровом лице его выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет... Проходят мучительнейшие полминуты — и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте.

— Тянул! — говорит он плачущим голосом. — Чтоб тебя на том свете потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь рвать, так не берись! Света божьего не вижу...

— А ты зачем руками хватаешь? — сердится фельдшер. — Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова... Дура!

— Сам ты дура!

— Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню полез да в колокола отбарабанил! (Дразнит.) «Не умеешь, не умеешь!» Скажи, какой указчик нашелся! Ишь ты... Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвал, да и тот ничего, никаких слов... Человек почище тебя, а не хватал руками... Садись! Садись, тебе говорю!

— Света не вижу... Дай дух перевести... Ох! (Садится.) Не тани только долго, а дергай. Ты не тани, а дергай... Сразу!

— Учи ученого! Экий, господи, народ необразованный! Живи вот с такими... очумеешь! Раскрой рот... (Накладывает щипцы.) Хирургия, брат, не шутка... Это не на клиресе читать... (Делает тракцию.) Не дергайся... Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни пустил... (Тянет.) Не шевелись...

¹ Радетель — (устар. от *радеть* — *заботиться*) — тот, кто проявляет заботу о ком-либо.

Так... так... Не шевелись... Ну, ну... (Слышен хрустящий звук.) Так и знал!

Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен... Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот.

— Было б мне козьей ножкой... — бормочет фельдшер. — Этакая оказия!

Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа.

— Парршивый черт... — выговаривает он. — Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель!

— Поругайся мне еще тут... — бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы. — Невежа... Мало тебя в бурсе березой потчевали... Господин Египетский, Александр Иванович, в Петербурге лет семь жил... образованность... один костюм рублей сто стоит... да и то не ругался... А ты что за пава такая! Ништо тебе, не околеешь!

Дьячок берет со стола свою просфору, и, поддерживая щеку рукой, уходит восвояси...

Вопросы и задания

I. Разберемся в прочитанном

1. Какое «жизненное» событие положено в основу рассказа?
2. С каким настроением пришел дьячок в земскую больницу?
3. Какими словами и доводами фельдшер убеждал своего пациента в трудности профессии хирурга?
4. Изменилось ли отношение больного к фельдшеру после его неудачной попытки вырвать зуб?
5. Подумайте, каково отношение автора к «хирургу». Действительно ли ему попался трудный случай или дело заключается в недостаточном умении фельдшера?
6. Проследите, как хорошо рассуждает Курятин о хирургии и каким становится беспомощным, когда надо теорию применить на практике.

II. Для самостоятельной работы

Попробуйте сами сочинить небольшой рассказ о каком-нибудь смешном случае.



*Владимир
Галактионович
Короленко
(1853–1921)*

«...Человек с большим и сильным сердцем...» Так назвал А. М. Горький замечательного русского писателя Владимира Галактионовича Короленко.

В. Г. Короленко родился 15 июля (27 июля по новому стилю) 1853 года на Украине, в городе Житомире. Детские и юношеские годы писателя прошли в маленьком городке Ровно, куда переехала семья Короленко.

Мальчик рос в трудолюбивой семье, в атмосфере любви, внимания и взаимного уважения. Отец — уездный судья, прямой, строгий, преданный своему делу человек — сумел сохранить при своей нелегкой должности кристальную честность, бескорыстность и неподкупность. Писатель вспоминал впоследствии, как отец отказывался принимать даже самые мелкие подарки, приносимые в знак благодарности «по освященному веками обычаю», и бесцеремонно прогонял изумленных посетителей. «Это был человек строгой и редкой по тому времени честности. Получив самое скудное воспитание и проходя службу с низших ступеней, он никогда не позволял себе принимать даже того, что по тому времени называлось «благодарностью», то есть приношений уже после состоявшегося решения дела... Я помню много случаев, когда он прогонял из своей квартиры «благодарных людей» палкой».

С детских лет будущий писатель обладал исключительной способностью тонко воспринимать красоту и величие

природы. Зачарованный, слушал он шум деревьев в сосновом лесу, часами наблюдал синюю бездну неба, любовался бесчисленным количеством далеких и таинственных звезд. С огромным интересом он слушал рассказы старой няньки о былых временах, украинские и русские народные песни, которые пел кучер.

Поступив в ровненскую реальную гимназию, Короленко знакомится с произведениями русской классики, которые раскрыли перед ним целый мир, прекрасный и увлекательный. «Каждый урок словесности являлся светлым промежутком на тусклом фоне обязательной гимназической рутины, часом отдыха, наслаждения, неожиданных и ярких впечатлений», — вспоминал он.

Однако очень скоро мальчик увидел и темные стороны жизни. Он столкнулся со злом и несправедливостью, равнодушием и жестокостью. Володя напряженно всматривается в пеструю жизнь провинциального города, и постепенно его охватывает неясное ощущение чего-то «огромного, тяжелого, тревожного».

Воспоминания детства позже и лягут в основу многих произведений Короленко («Ночью», «Слепой музыкант» и др.). Так, в рассказе «Дети подземелья»¹ он описывает городок «Княжье-Вено» с его заросшими прудами, речкой, таинственным полуразрушенным замком, окруженным шумящими тополями, который очень напоминает уездный город Ровно. В одной из автобиографий писатель прямо указал, что Ровно, «этот небольшой городок... с его тихой жизнью и дремлющими развалинами старинного княжеского «палаца» на острове, — совершенно точно описан в рассказе «В дурном обществе». А в образе судьи Короленко воспроизвел некоторые черты своего отца.

¹ Книги с таким названием у Короленко нет: так называли обработанный для детского чтения отрывок из его произведения «В дурном обществе».

Произведения Короленко проникнуты чувством подлинного человеколюбия. Они навсегда вошли в сокровищницу мировой литературы.

По М. А. Соколовой

ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ

1. РАЗВАЛИНЫ

Моя мать умерла, когда мне было шесть лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру Соню и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое деревцо в поле — никто не окружал меня особенною заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы. <...>

Местечко, где мы жили, называлось Княжье-Вено, или, проще, Княж-городок. Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду и напоминало любой из мелких городов Юго-западного края.

Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, кричит, вздрагивая под колесами, и шатается, точно дряхлый старик.

<...> Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в другой. Таким образом, с севера и юга городок ограждался широкими водяными гладами и топами. Пруды год от году мелели, зарастали зеленью, и высокие, густые камыши волновались, как море, на громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове — старый, полуразрушенный замок.

Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нем ходили предания и рассказы один другого страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно, руками пленных турок. «На костях человечес-

ких стоит старое замчище»¹, — передавали старожилы, и мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком. <...>

Было время, когда старый замок служил даровым убежищем² всякому бедняку без малейших ограничений. <...>

«Живет в замке» — эта фраза стала выражением крайней степени нищеты. Старый замок радушно принимал и покрывал и временно обнищавшего писца, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. <...>

Кроме этих выделявшихся из ряда людей, около часовни ютилась еще темная масса жалких оборванцев, появление которых на базаре производило всегда большую тревогу среди торговков, спешивших прикрыть свое добро руками, подобно тому, как наседки прикрывают цыплят, когда в небе покажется коршун. Ходили слухи, что эти бедняки, окончательно лишенные всяких средств к жизни со времени изгнания из замка, составили дружное сообщество и занимались, между прочим, мелким воровством в городе и окрестностях.

Организатором и руководителем этого сообщества несчастливцев был пан Тыбурций Драб, самая замечательная личность из всех не ужившихся в старом замке.

Происхождение Драба было покрыто мраком самой таинственной неизвестности. Некоторые приписывали ему аристократическое имя, которое он покрыл позором и потому принужден был скрываться. Но наружность пана Тыбурция не имела в себе ничего аристократического. Роста он был высокого; крупные черты лица были грубо-выразительны. Короткие, слегка рыжеватые волосы торчали врозь; низкий лоб, несколько выдававшаяся вперед нижняя челюсть и силь-

¹ *Замчище* — здесь: большой замок.

² *Убежище* — место проживания.

ная подвижность лица напоминали что-то обезьянье; но глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно, и в них светились вместе с лукавством острая пронизательность, энергия и ум.

Руки пана Тыбурция были грубы и покрыты мозолями, большие ноги ступали по-мужичьи. Ввиду этого, большинство обывателей не признавало за ним аристократического происхождения. Но тогда как объяснить его поразительную ученость, которая всем была очевидна? Не было кабака во всем городе, в котором бы пан Тыбурций, в поучение собравшихся в базарные дни хохлов¹, не произносил, стоя на бочке, целых речей из Цицерона², целых глав из Ксенофонта³. <...>

Ввиду такой поразительной учености явилась новая легенда, что пан Тыбурций был некогда дворовым мальчишкой какого-то графа, который послал его вместе со своим сыном в школу отцов иезуитов⁴, собственно, на предмет чистки сапог молодого панича. Оказалось, однако, что, в то время как молодой граф бездельничал, его лакей перехватил всю мудрость, которая назначалась для головы барчука.

Никто не знал также, откуда у пана Тыбурция явились дети, а между тем факт стоял налицо, даже два факта: мальчик лет семи, но рослый и развитой не по летам, и маленькая трехлетняя девочка. Мальчика пан Тыбурций привел с собой с первых дней, как явился сам. Что же касается девочки, то он отлучался на несколько месяцев, прежде чем она появилась у него на руках.

¹ *Хохлы* — так в прошлом называли украинцев.

² *Цицерон* — знаменитый древнеримский государственный деятель, славившийся красноречием. Речи его считались образцом ораторского искусства.

³ *Ксенофонт* — древнегреческий историк и полководец.

⁴ *Иезуиты* — католические монахи.



Мальчик, по имени Валек, высокий, тонкий, черноволосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела, заложив руки в карманы и кидая по сторонам взгляды, смущавшие сердца калачниц. Девочку видели только один или два раза на руках пана Тыбурция, а затем она куда-то исчезла, и где находилась — никому не было известно.

Поговаривали о каких-то подземельях на горе около часовни, и так как в тех краях подобные подземелья нередки, то все верили этим слухам, тем более что ведь жили же где-нибудь все эти люди. А они обыкновенно под вечер исчезали именно в направлении к часовне. Туда своею сонною походкой ковылял полубезумный старик нищий, которого прозвали «профессор», шагал решительно и быстро пан Тыбурций.

2. Я И МОЙ ОТЕЦ

— Плохо, молодой человек, плохо! — говорил мне нередко старый Януш из замка, встречая меня на улицах города среди слушателей пана Тыбурция.

И старик качал при этом своею седою бородой.

— Плохо, молодой человек, — вы в дурном обществе!.. Жаль, очень жаль сына почтенных родителей.

Действительно, с тех пор как умерла моя мать, а суровое лицо отца стало еще угрюмее, меня очень редко видели дома. <...>

Вообще все меня звали бродягой, негодным мальчишкой и так часто укоряли в разных дурных наклонностях, что я наконец и сам проникся этим убеждением. Отец также поверил этому и делал иногда попытки заняться моим воспитанием, но попытки эти всегда кончались неудачей. При виде строгого и угрюмого лица, на котором лежала суровая печать неизлечимого горя, я робел и замыкался в себя. Я стоял перед ним, переминаясь, теребя свои штанишки, и озирался по сторонам. Временами что-то как будто подымалось у меня в груди; мне хотелось, чтоб он обнял меня,

посадил к себе на колени и приласкал. Тогда я прильнул бы к его груди, и, быть может, мы вместе заплакали бы — ребенок и суровый мужчина — о нашей общей утрате. Но он смотрел на меня отуманенными глазами, как будто поверх моей головы, и я весь сжимался под этим непонятным для меня взглядом.

— Ты помнишь матушку?

Помнил ли я ее? О да, я помнил ее! Я помнил, как бывало, просыпаясь ночью, я искал в темноте ее нежные руки и крепко прижимался к ним, покрывая их поцелуями. Я помнил ее, когда она сидела больная перед открытым окном и грустно оглядывала чудную весеннюю картину, прощаясь с нею в последний год своей жизни.

<...> Да, я помнил ее!.. Но на вопрос высокого, угрюмого человека, в котором я желал, но не мог почувствовать родную душу, я съеживался еще более и тихо выдергивал из его руки свою ручонку.

И мало-помалу пропасть, нас разделявшая, становилась все шире и глубже. <...>

Сестре Соне было четыре года. Я любил ее страстно, и она платила мне такую же любовью; но установившийся взгляд на меня, как на отпетого маленького разбойника, воздвиг и между нами высокую стену. Всякий раз, когда я начинал играть с нею, по-своему шумно и резво, старая нянька, вечно сонная немедленно просыпалась, быстро схватывала мою Соню и уносила к себе, кидая на меня сердитые взгляды; в таких случаях она всегда напоминала мне всклоченную насадку, себя я сравнивал с хищным коршуном, а Соню — с маленьким цыпленком. Мне становилось очень горько и досадно. Не мудрено поэтому, что скоро я прекратил всякие попытки занимать Соню моими преступными играми, а еще через некоторое время мне стало тесно в доме и в садике, где я не встречал ни в ком привета и ласки. Я начал бродяжить. <...>

Когда все углы города стали мне известны до последних грязных закоулков, тогда я стал заглядываться на вид-

невшуяся вдали, на горе, часовню. Сначала, как пугливый зверек, я подходил к ней с разных сторон, все не решаясь взобраться на гору, пользовавшуюся дурной славой. Нигде не было видно признаков какого-либо жилья и человеческого присутствия. Все было как-то смиренно, тихо, заброшенно, пусто. Только самая часовня глядела, насупившись, пустыми окнами, точно думала какую-то грустную думу. Мне захотелось осмотреть ее всю, заглянуть внутрь, чтобы убедиться, что и там нет ничего кроме пыли. Но так как одному было бы и страшно и неудобно предпринимать подобную экскурсию, то я собрал на улицах города небольшой отряд из трех сорванцов, привлеченных обещанием булок и яблоков из нашего сада.

3. Я ПРИОБРЕТАЮ НОВОЕ ЗНАКОМСТВО

И вот однажды мальчики отправились на гору, чтобы исследовать заброшенную часовню.

<...> Дверь часовни была крепко заколочена, окна — высоко над землею; однако при помощи товарищей я надеялся взобраться на них и взглянуть внутрь часовни.

— Не надо! — вскрикнул один из моих спутников, вдруг потерявший всю свою храбрость, и схватил меня за руку.

— Пошел ко всем чертям, баба! — прикрикнул на него старший из нашей маленькой армии, с готовностью подставляя спину.

Я храбро взобрался на нее, потом он выпрямился, и я стал ногами на его плечи. В таком положении я без труда достал рукой раму и, убедясь в ее крепости, поднялся к окну и сел на него.

— Ну, что же там? — спрашивали меня снизу с живым интересом.

Я молчал. Перегнувшись через косяк, я заглянул внутрь часовни, и оттуда на меня пахло торжественною тишиной брошенного храма. <...> Я смотрел точно в глубокую яму и сначала не мог разглядеть каких-то предметов, еле выделявшихся на полу странными очертаниями.

Между тем моим товарищам надоело стоять внизу, ожидая от меня известий, и потому один из них, проделав то же, что и я раньше, повис рядом со мною, держась за оконную раму.

— Что там такое? — с любопытством указал он на темный предмет, видневшийся рядом с престолом¹.

— Поповская шапка.

— Нет, ведро.

— Зачем же тут ведро?

— Может быть, в нем когда-то были угли для кадила².

— Нет, это действительно шапка. Впрочем, можно посмотреть. Давай привяжем к раме пояс, и ты по нему спустишься.

— Да, как же, так и спущусь!.. Полезай сам, если хочешь.

— Ну что ж! Думаешь, не полезу?

— И полезай!

Действуя по первому побуждению, я крепко связал два ремня, задел их за раму и, отдав один конец товарищу, сам повис на другом. Когда моя нога коснулась пола, я вздрогнул; но взгляд на участливо склонившуюся ко мне рожицу моего приятеля восстановил мою бодрость.

<...> Мне было жутко; глаза моего друга сверкали захватывающим дух любопытством и участием.

— Ты подойдешь? — ответил я также, собираясь с духом. Но в эту минуту случилось нечто совершенно неожиданное.

Сначала послышался стук и шум обвалившейся на хорах штукатурки. Что-то завозилось вверх, тряхнуло в воздухе тучею пыли, и большая серая масса, взмахнув крыльями,

¹ Престол — стол в алтаре, в главной части церкви.

² Кадило — металлический сосуд, употребляющийся в православном и католическом богослужении для курения ладаном — ароматической смолой.

поднялась к прорехе в крыше. Часовня на мгновение как будто потемнела. Огромная старая сова, обеспокоенная нашей возней, вылетела из темного угла, мелькнула на фоне голубого неба в полете и шарахнулась вон.

Я почувствовал прилив судорожного страха.

— Подымай! — крикнул я товарищу, схватившись за ремень.

— Не бойся, не бойся! — успокаивал он, приготовляясь поднять меня на свет дня и солнца.

Но вдруг лицо его исказилось от страха; он вскрикнул и мгновенно исчез, спрыгнув с окна. Я инстинктивно оглянулся и увидел странное явление, поразившее меня, впрочем, больше удивлением, чем ужасом.

Темный предмет нашего спора, шапка или ведро, оказавшийся в конце концов горшком, мелькнул в воздухе, и на глазах моих скрылся под престолом.

Я успел только разглядеть очертания небольшой, как будто детской руки.

Трудно передать свои ощущения в эту минуту; чувство, которое я испытывал, нельзя даже назвать страхом.

Я был один, точно в гробу, в виду каких-то странных и необъяснимых явлений.

Времени для меня не существовало, поэтому я не мог сказать, скоро ли я услышал под престолом сдержанный шепот:

— Почему же он не лезет себе назад?

— Видишь, испугался.

Первый голос показался мне совсем детским; второй мог принадлежать мальчику моего возраста. Мне показалось также, что в щели старого престола сверкнула пара черных глаз.

— Что же он теперь будет делать? — слышался опять шепот.

— А вот погоди, — ответил голос постарше.

Под престолом что-то сильно завозилось, он даже как

будто покачнулся, и в то же мгновение из-под него вынырнула фигура.

Это был мальчик лет девяти, больше меня, худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязную рубашонку, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные курчавые волосы лохматились над черными задумчивыми глазами.

Хотя незнакомец, явившийся на сцену столь неожиданным и странным образом, подходил ко мне с тем беспечно-задорным видом, с каким всегда на нашем базаре подходили друг к другу мальчишки, готовые вступить в драку, но все же, увидев его, я сильно ободрился. Я ободрился еще более, когда из-под того же престола, или, вернее, из люка в полу часовни, который он покрывал, сзади мальчика показалось еще грязное личико, обрамленное белокурыми волосами и сверкавшее на меня детски-любопытными голубыми глазами.

Я несколько отодвинулся от стены и тоже положил руки в карманы. Это было признаком, что я не боюсь противника и даже отчасти намекаю на мое к нему презрение.

Мы стали друг против друга и обменялись взглядами. Оглядев меня с головы до ног, мальчишка спросил:

— Ты здесь зачем?

— Так, — ответил я. — Тебе какое дело?

Мой противник повел плечом, как будто намереваясь вынуть руку из кармана и ударить меня.

Я не моргнул и глазом!

— Я вот тебе покажу! — погрозил он.

Я выпятился грудью вперед:

— Ну, ударь... попробуй!..

Мгновение было критическое, от него зависел характер дальнейших отношений. Я ждал, но мой противник, окинув меня тем же испытующим взглядом, не шевелился.

— Я, брат, и сам... тоже... — сказал я, но уже более миролюбиво.

Между тем девочка, упершись маленькими ручонками в пол часовни, старалась тоже выкарабкаться из люка. Она падала, вновь приподымалась и наконец направилась нетвердыми шагами к мальчишке. Подойдя вплоть, она крепко ухватила за него и, прижавшись к нему, поглядела на меня удивленным и отчасти испуганным взглядом.

Это решило исход дела; стало совершенно ясно, что в таком положении мальчишка не мог драться, а я, конечно, был слишком великодушен, чтобы воспользоваться его неудобным положением.

— Как твое имя? — спросил мальчик, глядя рукой белокурую головку девочки.

— Вася. А ты кто такой?

— Я Валеку... Я тебя знаю: ты живешь в саду над прудом. У вас большие яблоки.

— Да, это правда, яблоки у нас хорошие... Не хочешь ли?

Вынув из кармана два яблока, назначавшиеся для расплаты с моею постыдно бежавшей армией, я подал одно из них Валеку, другое протянул девочке. Но она скрыла свое лицо, прижавшись к Валеку.

— Бойся, — сказал тот и сам передал яблоко девочке.

— Зачем ты влез сюда? Разве я когда-нибудь лазал в ваш сад? — спросил он затем.

— Что ж, приходи! Я буду рад, — ответил я радушно. Ответ этот озадачил Валека; он призадумался.

— Я тебе не компания, — сказал он грустно.

— Отчего же? — спросил я, искренне огорченный грустным тоном, каким были сказаны эти слова.

— Твой отец — пан судья.

— Ну так что же? — изумился я чистосердечно. — Ведь ты будешь играть со мною, а не с отцом.

Валеку покачал головой.

— Тыбурций не пустит, — сказал он, и, как будто это имя напомнило ему что-то, он вдруг спохватился: — Послу-

шай... Ты, кажется, славный хлопец, но все-таки тебе лучше уйти. Если Тыбурций тебя застанет, будет плохо.

Я согласился, что мне действительно пора уходить. Последние лучи солнца уходили уже сквозь окна часовни, а до города было не близко.

— Как же мне отсюда выйти?

— Я тебе укажу дорогу. Мы выйдем вместе.

— А она? — ткнул я пальцем в нашу маленькую даму.

— Маруся? Она тоже пойдет с нами.

— Как, в окно?

Валек задумался.

— Нет, вот что: я тебе помогу взобраться на окно, а мы выйдем другим ходом.

Солнце недавно еще село за гору. Город утонул в лилово-туманной тени, и только верхушки высоких тополей на острове резко выделялись червонным золотом¹, разрисованные последними лучами заката. Мне казалось, что с тех пор, как я явился сюда, на старое кладбище, прошло не менее суток, что это было вчера.

— Как хорошо! — сказал я, охваченный свежестью наступающего вечера и вдыхая полной грудью влажную прохладу.

— Скучно здесь... — с грустью произнес Валек.

— Вы все здесь живете? — спросил я, когда мы втроем стали спускаться с горы.

— Здесь.

— Где же ваш дом?

Я не мог себе представить, чтобы дети могли жить без «дома».

Валек усмехнулся с обычным грустным видом и ничего не ответил.

¹ *Червонное золото* — золото, имеющее красноватый оттенок, из которого в тот период (конец XIX начало XX века) в России изготавливали десятирублевые монеты).

Мы миновали крутые обвалы, так как Валек знал более удобную дорогу. Пройдя меж камышей по высохшему болоту и переправившись через ручеек по тонким дощечкам, мы очутились у подножия горы, на равнине.

Тут надо было расстаться. Пожав руку моему новому знакомому, я протянул ее также и девочке. Она ласково подала мне свою крохотную ручонку и, глядя снизу вверх голубыми глазами, спросила:

- Ты придешь к нам опять?
- Приду, — ответил я, — непременно!..
- Что ж, — сказал в раздумье Валек, — приходи, пожалуйста, только в такое время, когда наши будут в городе.
- Кто это «ваши»?
- Да наши... все: Тыбурций, «профессор»... хотя тот, пожалуй, не помешает.
- Хорошо. Я посмотрю, когда они будут в городе, и тогда приду. А пока прощайте!
- Эй, послушай-ка! — крикнул мне Валек, когда я отошел несколько шагов. — А ты болтать не будешь о том, что был у нас?
- Никому не скажу, — ответил я твердо.
- Ну вот, это хорошо! А этим твоим дуракам, когда станут приставать, скажи, что видел черта.
- Ладно, скажу.
- Ну, прощай!
- Прощай.

4. ЗНАКОМСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С этих пор я весь был поглощен моим новым знакомством. Вечером, ложась в постель, и утром, вставая, я только и думал о предстоящем визите на гору. По улицам города я шатался теперь с исключительной целью — высмотреть, тут ли находится вся компания, которую Януш характеризовал словами «дурное общество». И, если Тыбурций разглагольствовал перед своими слушателями, а темные личности из его компании шныряли по базару, я тотчас же бегом от-

правлялся через болото на гору, к часовне, предварительно наполнив карманы яблоками, которые я мог рвать в саду без запрета, и лакомствами, которые я сберегал всегда для своих новых друзей.

Валек, вообще очень солидный и внушавший мне уважение своими манерами взрослого человека, принимал эти приношения просто и по большей части откладывал куда-нибудь, приберегая для сестры, но Маруся всякий раз всплескивала ручонками, и глаза ее загорались огоньком восторга; бледное лицо девочки вспыхивало румянцем, она смеялась, и этот смех нашей маленькой приятельницы отдавался в наших сердцах, вознаграждая за конфеты, которые мы жертвовали в ее пользу.

Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца. Несмотря на свои четыре года, она ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как былинка; руки ее были тонки и прозрачны; головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика; глаза смотрели порой так не по-детски грустно, и улыбка так напоминала мне мою мать в последние дни, когда она, бывало, сидела против открытого окна и ветер шевелил ее белокурые волосы, что мне становилось самому грустно, и слезы подступали к глазам.

Я невольно сравнивал ее с моей сестрой; они были в одном возрасте, но моя Соня была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда, бывало, разыграется, так звонко смеялась, на ней всегда были такие красивые платья, и в темные косы ей каждый день горничная вплетала алую ленту.

А моя маленькая приятельница почти никогда не бегала и смеялась очень редко; когда же смеялась, то смех ее звучал, как самый маленький серебряный колокольчик, которого на десять шагов уже не слышно. Платье ее было грязно и старо, в косе не было лент, но волосы у нее были гораздо больше и роскошнее, чем у Сони, и Валек, к моему

удивлению, очень искусно умел заплетать их, что исполнял каждое утро.

<...> В первые же дни я внес свое оживление и в общество моих новых знакомых. Едва ли эхо старой часовни повторяло когда-нибудь такие громкие крики, как в то время, когда я старался расшевелить и завлечь в свои игры Валек и Марусю. Однако это удавалось плохо. Валек серьезно смотрел на меня и на девочку, и раз, когда я заставил ее бегать со мной взапуски, он сказал:

— Нет, она сейчас заплачет.

Действительно, когда я растормошил ее и заставил бежать, Маруся, слышав мои шаги за собой, вдруг повернулась ко мне, подняв ручонки над головой, точно для защиты, посмотрела на меня беспомощным взглядом захлопнутой птички и громко заплакала.

Я совсем растерялся.

— Вот видишь, — сказал Валек, — она не любит играть.

Он усадил ее на траву, нарвал цветов и кинул ей; она перестала плакать и тихо перебирала растения, что-то говорила, обращаясь к золотистым лютикам, и подносила к губам синие колокольчики. Я тоже присмирел и лег рядом с Валеком около девочки.

— Отчего она такая? — спросил я наконец, указывая глазами на Марусю.

— Невеселая? — переспросил Валек и затем сказал тоном совершенно убежденного человека: — А это, видишь ли, от серого камня.

— Да-а, — повторила девочка, точно слабое эхо, — это от серого камня.

— От какого серого камня? — переспросил я, не понимая.

— Серый камень высосал из нее жизнь, — пояснил опять Валек, по-прежнему смотря на небо. — Так говорит Тыбурций... Тыбурций хорошо знает.

— Да-а, — опять повторила тихим эхом девочка. — Тыбурций все знает.

Под влиянием этого чувства я тоже умерил свою резвость. Применяясь к тихой солидности нашей дамы, оба мы с Валеком, усадив ее где-нибудь на траве, собирали для нее цветы, разноцветные камешки, ловили бабочек, иногда делали из кирпичей ловушки для воробьев. Иногда же, растянувшись около нее на траве, смотрели в небо, как плывут облака высоко над лохматою крышей старой часовни, рассказывали Марусе сказки или беседовали друг с другом.

— Тыбурций тебе отец?

— Должно быть, отец, — ответил он задумчиво, как будто этот вопрос не приходил ему в голову.

— Он тебя любит?

— Да, любит, — сказал он уже гораздо увереннее. — Он постоянно обо мне заботится, и, знаешь, иногда он целует меня и плачет...

— И меня любит, и тоже плачет, — прибавила Маруся с выражением детской гордости.

— А меня отец не любит, — сказал я грустно. — Он никогда не целовал меня... Он нехороший...

— Неправда, неправда, — возразил Валеку, — ты не понимаешь. Тыбурций лучше знает. Он говорит, что судья — самый лучший человек в городе... Он засудил даже одного графа.

— Да, это правда... Граф очень сердился, я слышал.

— Ну, вот видишь! А ведь графа засудить не шутка.

— Почему?

— Почему? — переспросил Валеку, несколько озадаченный. — Потому что граф — не простой человек... Граф делает что хочет, и ездит в карете, и потом... у графа деньги; он дал бы другому судье денег, и тот бы его не засудил, а засудил бы бедного.

— Да, это правда. Я слышал, как граф кричал у нас в квартире: «Я вас всех могу купить и продать!»

— А судья что?

— А отец говорит ему: «Подите от меня вон!»

— Ну, вот, вот! И Тыбурций говорит, что он не побоится прогнать богатого, а когда к нему пришла старая Иваниха с костью, он велел принести ей стул. Вот он какой!

Все это заставило меня глубоко задуматься. Валеку указал мне моего отца с такой стороны, с какой мне никогда не приходило в голову взглянуть на него: слова Валека заделали в моем сердце струну сыновней гордости; мне было приятно слушать похвалы моему отцу, да еще от имени Тыбурция, который «все знает», но вместе с тем дрогнула в моем сердце и нота щемящей любви, смешанной с горьким сознанием: никогда отец не любил и не полюбит меня так, как Тыбурций любит своих детей.

5. СРЕДИ «СЕРЫХ КАМНЕЙ»

Однажды Валеку решил показать своему новому другу, где они живут, но попросил никому не рассказывать об этом.

Я остановился у входа, пораженный невиданным зрелищем. Две струи света резко лились сверху, выделяясь полосами на темном фоне подземелья; свет этот проходил в два окна, одно из которых я видел в полу склепа, другое, подальше, очевидно, было пристроено таким же образом; лучи солнца проникали сюда не прямо, а прежде отражались от стен старых гробниц; они разливались в сыром воздухе подземелья, падали на каменные плиты пола. На полу, в освещенных пространствах, сидели две фигуры. Старый «профессор», склонив голову и что-то бормоча про себя, ковырял иголкой в своих лохмотьях. Он не поднял даже головы, когда мы вошли в подземелье, и если бы не легкие движения руки, то эту серую фигуру можно было бы принять за каменное изваяние¹.

Под другим окном сидела с кучкой цветов, перебирая их, по своему обыкновению, Маруся. Струя света падала на ее белокурую головку, заливая ее всю, но, несмотря на это, она как-то слабо выделялась на фоне серого камня странным и

¹ Изваяние — статуя.

маленьким туманным пятнышком, которое, казалось, вот-вот расплывется и исчезнет.

— Валек! — тихо обрадовалась Маруся, увидев брата.

Когда же она заметила меня, в ее глазах блеснула живая искорка.

Я отдал ей яблоки, а Валек, разломив булку, часть подал ей, а другую снес «профессору». Несчастный ученый равнодушно взял это приношение и начал жевать, не отрываясь от своего занятия.

— Уйдем... уйдем отсюда, — дернул я Валека. — Уведи ее...

— Пойдем, Маруся, наверх, — позвал Валек сестру.

И мы втроем поднялись из подземелья. Валек был грустнее и молчаливее обыкновенного.

— Ты в городе остался затем, чтобы купить булок? — спросил я у него.

— Купить? — усмехнулся Валек. — Откуда же у меня деньги?

— Так как же? Ты выпросил?

— Да, выпросишь!.. Кто же мне даст?.. Нет, брат, я стянул их с лотка еврейки Суры на базаре! Она не заметила.

Он сказал это обыкновенным тоном, лежа врасстыжку с заложенными под голову руками. Я приподнялся на локте и посмотрел на него.

— Ты, значит, украл?..

— Ну да!

Я опять откинулся на траву, и с минуту мы пролежали молча.

— Воровать нехорошо, — проговорил я затем в грустном раздумье.

— Наши все ушли... Маруся плакала, потому что она была голодна.

— Да, голодна! — с жалобным простодушием повторила девочка.

— Почему же, — спросил я с усилием, — почему ты не сказал об этом мне?

— Я и хотел сказать, а потом раздумал: ведь у тебя своих денег нет.

— Ну так что же? Я взял бы булок из дому.

— Как, потихоньку?

— Д-да.

— Значит, и ты бы тоже украл.

— Я... у своего отца.

— Это еще хуже! — с уверенностью сказал Валек. — Я никогда не ворую у своего отца.

— Ну, так я попросил бы... Мне бы дали.

— Ну, может быть, и дали бы один раз, — где же запастись на всех нищих?

— А вы разве... нищие? — спросил я упавшим голосом.

— Нищие! — угрюмо отрезал Валек.

Хотя любовь моя к Валеку и Марусе не стала слабее, но к ней примешалась острая струя сожаления, доходившая до сердечной боли. Дома я рано лег в постель. Уткнувшись в подушку, я горько плакал, пока крепкий сон не прогнал своим веянием моего глубокого горя.

6. НА СЦЕНУ ЯВЛЯЕТСЯ ПАН ТЫБУРЦИЙ

— Здравствуй! А уж я думал — ты не придешь более, — так встретил меня Валек, когда я на следующий день опять явился на гору.

Я понял, почему он сказал это.

— Нет, я... я всегда буду ходить к вам, — ответил я решительно, чтобы раз навсегда покончить с этим вопросом.

Валек заметно повеселел, и оба мы почувствовали себя свободнее.

<...> Между тем около полудня небо насупилось, надвинулась темная туча, и под веселые раскаты грома зашумел ливень. Сначала мне очень не хотелось спускаться в подземелье, но потом, подумав, что ведь Валек и Маруся живут

там постоянно, я победил неприятное ощущение и пошел туда вместе с ними. <...>

— Давайте играть в жмурки, — предложил я.

Мне завязали глаза; Маруся звенела слабыми переливами своего жалкого смеха и шлепала по каменному полу непроворными ножонками, а я делал вид, что не могу поймать ее, как вдруг наткнулся на чью-то мокрую фигуру и в ту же минуту почувствовал, что кто-то схватил меня за ногу. Сильная рука приподняла меня с полу, и я повис в воздухе вниз головой. Повязка с глаз моих спала.

Тыбурций, мокрый и сердитый, страшнее еще оттого, что я глядел на него снизу, держал меня за ногу и дико вращал зрачками.

— Это что еще, а? — строго спрашивал он, глядя на Валека. — Вы тут, я вижу, весело проводите время... Завели приятную компанию.

— Пустите меня! — сказал я, удивляясь, что и в таком необычном положении я все-таки могу говорить, но рука пана Тыбурция только еще сильнее сжала мою ногу.

— Отвечай! — грозно обратился он опять к Валеку, который в этом затруднительном случае стоял, запихав в рот два пальца, как бы в доказательство того, что ему отвечать решительно нечего.

Пан Тыбурций приподнял меня и взглянул в лицо.

— Эге-ге! Пан судья, если меня не обманывают глаза... Зачем это изволили пожаловать?

— Пусти! — проговорил я упрямо. — Сейчас отпусти! — И при этом я сделал инстинктивное движение, как бы собираясь топнуть ногой, но от этого весь только забился в воздухе.

Тыбурций захохотал.

— Ого-го! Пан судья изволят сердиться... Ну, да ты меня еще не знаешь. Я — Тыбурций. Я вот повешу тебя над огоньком и зажарю, как поросенка.

К счастью, на выручку подоспела Маруся.

— Не бойся, Вася, не бойся! — ободряла она меня, подойдя к самым ногам Тыбурция. — Он никогда не жарит мальчигов на огне... Это неправда!

Тыбурций быстрым движением повернул меня и поставил на ноги; при этом я чуть не упал, так как у меня закружилась голова, но он поддержал меня рукой и затем, сев на деревянный обрубок, поставил между колен.

— И как это ты сюда попал? — продолжал он допрашивать. — Давно ли?.. Говори ты! — обратился он к Валеку, так как я ничего не ответил.

— Давно, — ответил тот.

— А как давно?

— Дней шесть.

Казалось, этот ответ доставил пану Тыбурцию некоторое удовольствие.

— Ого, шесть дней! — заговорил он, поворачивая меня лицом к себе. — Шесть дней — много времени. И ты до сих пор никому еще не разболтал, куда ходишь?

— Никому.

— Правда?

— Никому, — повторил я.

— Похвально!.. Можно рассчитывать, что не разболтаешь и вперед. Впрочем, я всегда считал тебя порядочным малым, встречая на улицах. Настоящий «уличник», хоть и «судья»... А нас судить будешь, скажи-ка?

Он говорил довольно добродушно, но я все-таки чувствовал себя глубоко оскорбленным и потому ответил довольно сердито:

— Я вовсе не судья. Я — Вася.

— Одно другому не мешает, и Вася тоже может быть судьей, — не теперь, так после... Это уж, брат, так ведется исстари. Вот видишь ли: я — Тыбурций, а он — Валек. Я нищий, и он нищий. Я, если уж говорить откровенно, краду, и он будет красть. А твой отец меня судит, — ну, и ты когда-нибудь будешь судить... вот его!

— Не буду судить Валека, — возразил я угрюмо. — Не правда!

— Он не будет, — вступилась и Маруся, с полным убеждением отстраняя от меня ужасное подозрение.

— Ну, этого ты вперед не говори, — сказал странный человек задумчиво, обращаясь ко мне таким тоном, точно он говорил со взрослым. — Не говори, друг!.. Всякому свое, каждый идет своей дорожкой, и кто знает... может быть, это и хорошо, что твоя дорога пролегла через нашу. Для тебя хорошо, потому что лучше иметь в груди кусочек человеческого сердца вместо холодного камня, — понимаешь?

Я не понимал ничего, но все же впился глазами в лицо странного человека; глаза пана Тыбурция пристально смотрели в мои.

— Впрочем, — заговорил он, резко изменив тон, — запомни хорошенько вот что: если ты проболтаешься своему судье или хоть птице, которая пролетит мимо тебя в поле, о том, что ты здесь видел, то не будь я Тыбурций Драб, если я тебя не повешу вот в этом камине за ноги и не сделаю из тебя копченого окорока. Это ты, надеюсь, понял?

— Я не скажу никому... я... Можно мне опять прийти?

— Приходи, разрешаю... под условием... Впрочем, я уже сказал тебе насчет окорока. Помни!..

Он отпустил меня и сам растянулся с усталым видом на длинной лавке, стоявшей около стенки.

— Возьми вон там, — указал он Валеку на большую корзину, которую, войдя, оставил у порога, — да разведи огонь. Мы будем сегодня варить обед.

<...> Через полчаса в камине закипало уже в горшке какое-то варево, а в ожидании, пока оно поспеет, Валека поставил на трехногий столик сковороду, на которой дымились куски жареного мяса.

Тыбурций поднялся.

— Готово? — сказал он. — Ну и отлично. Садись, малый, с нами — ты заработал свой обед...

Марусю Тыбурций держал на руках. Она и Валек ели с жадностью, которая ясно показывала, что мясное блюдо было для них невиданною роскошью; Маруся облизывала даже свои засаленные пальцы. Тыбурций ел с расстановкой и, повинувшись, по-видимому, неодолимой потребности говорить, то и дело обращался к «профессору» со своей беседой. <...>

7. ОСЕНЬЮ

Близилась осень. В поле шла жатва, листья на деревьях желтели. Вместе с тем наша Маруся начала прихварывать.

Она ни на что не жаловалась, только все худела; лицо ее все бледнело, глаза потемнели, стали больше, веки приподнимались с трудом.

Теперь я мог приходить на гору, не стесняясь тем, что члены «дурного общества» бывали дома. Я совершенно свыкся с ними и стал на горе своим человеком.

<...> Каждый раз, придя к своим друзьям, я замечал, что Маруся все больше хиреет. Теперь она совсем уже не выходила на воздух, и серый камень — темное, молчаливое чудовище подземелья — продолжал без перерыва свою ужасную работу, высасывая жизнь из маленького тельца.

<...> На время небо опять прояснилось; с него сбежали последние тучи, и над просыхающей землей, в последний раз перед наступлением зимы, засияли солнечные дни. Мы каждый день выносили Марусю наверх, и здесь она как будто оживала; девочка смотрела вокруг широко раскрытыми глазами, на щеках ее загорался румянец, казалось, что ветер, обдававший ее своими свежими взмахами, возвращал ей частицы жизни, похищенные серыми камнями подземелья, но это продолжалось недолго...

Между тем над моей головой тоже стали собираться тучи. Однажды, когда я, по обыкновению, утром проходил по аллеям сада, я увидел в одной из них отца, а рядом старого Януша из замка. Старик подобострастно кланялся и что-то говорил, а отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его рез-

ко обозначалась складка нетерпеливого гнева. Наконец он протянул руку, как бы отстраняя Януша с своей дороги, и сказал:

— Уходите! Вы просто старый сплетник! <...>

Я сильно недолго любил старого филина из замка, и теперь сердце мое дрогнуло предчувствием. Я понял, что подслушанный мною разговор относился к моим друзьям и, быть может, также ко мне. Тыбурций, которому я рассказал об этом случае, скорчил ужасную гримасу.

— У-уф, малый, какая это неприятная новость!.. О, проклятая старая гиена!

— Отец его прогнал, — заметил я в виде утешения.

— Твой отец, малый, самый лучший из всех судей на свете. У него есть сердце; он знает много... Но, малый, как бы тебе объяснить это? Твой отец служит господину, которого имя — закон. Понимаешь ты, малый?.. Вся беда моя в том, что у меня с законом вышло когда-то, давно уже, некоторое столкновение... то есть, понимаешь, неожиданная ссора... ах, малый, очень это была крупная ссора!

С этими словами Тыбурций встал, взял на руки Марусю и, отойдя с нею в дальний угол, стал целовать ее, прижимаясь своею безобразной головой к ее маленькой груди.

8. КУКЛА

Ясные дни миновали, и Марусе опять стало хуже. Я стал носить в подземелье свои игрушки, но и они развлекали девочку только на короткое время. Тогда я решил обратиться к своей сестре Соне.

У Сони была большая кукла, с ярко раскрашенным лицом и роскошными льняными волосами, подарок покойной матери. На эту куклу я возлагал большие надежды и потому, отозвав сестру в боковую аллею сада, попросил дать мне ее на время. Я так убедительно просил ее об этом, так живо описал ей бедную больную девочку, у которой никогда не было своих игрушек, что Соня, которая сначала только

прижимала куклу к себе, отдала мне ее и обещала в течение двух-трех дней играть другими игрушками, ничего не упоминая о кукле.

Действие этой нарядной фаянсовой¹ барышни на нашу больную превзошло все мои ожидания. Маруся, которая увядала, как цветок осенью, казалось, вдруг опять ожила. Она так крепко меня обнимала, так звонко смеялась, разговаривая со своей новой знакомой... Маленькая кукла сделала почти чудо: Маруся, давно уже не сходявшая с постели, стала ходить, водя за собой свою белокурую дочку, и по временам даже бегала, по-прежнему шлепая по полу слабыми ногами.

Зато мне эта кукла доставила очень много тревожных минут: ... дня через два старушка няня заметила пропажу и стала соваться по углам, везде разыскивая куклу. Соня старалась унять ее, но своими наивными уверениями, что ей кукла не нужна, что кукла ушла гулять и скоро вернется, только вызывала недоумение служанок и возбуждала подозрение, что тут не простая пропажа.

На горе дела были плохи. Маруся опять слегла, и ей стало еще хуже; лицо ее горело странным румянцем, белокурые волосы раскидались по подушке; она никого не узнавала. Рядом с ней лежала злополучная кукла, с розовыми щеками и глупыми блестящими глазами.

Я сообщил Валеку свои опасения, и мы решили, что куклу необходимо унести обратно, тем более что Маруся этого и не заметит. Но мы ошиблись! Как только я вынул куклу из рук лежащей в забытии девочки, она открыла глаза, посмотрела перед собой смутным взглядом, как будто не видя меня, не сознавая, что с ней происходит, и вдруг заплакала тихо-тихо, но вместе с тем так жалобно, и в исхудалом лице, под покровом бреда, мелькнуло выражение такого глубокого горя, что я тотчас же с испугом положил куклу на прежнее

¹ *Фаянс* — особый вид глины.

место. Девочка улыбнулась, прижала куклу к себе и успокоилась. Я понял, что хотел лишить моего маленького друга первой и последней радости ее недолгой жизни.

Валек робко посмотрел на меня.

— Как же теперь будет? — спросил он грустно.

Тыбурций, сидя на лавочке с печально понуренною головой, также смотрел на меня вопросительным взглядом. Поэтому я постарался придать себе вид по возможности беспечный и сказал:

— Ничего! Нянька, наверное, уж забыла.

Но старуха не забыла. Когда я на этот раз возвратился домой, у калитки мне опять попался Януш; Соню я застал с заплаканными глазами, а нянька кинула на меня сердитый, подавляющий взгляд и что-то ворчала беззубым, шамкающим ртом.

Отец спросил у меня, куда я ходил, и, выслушав внимательно обычный ответ, ограничился тем, что повторил мне приказ ни под каким видом не отлучаться из дому без его позволения.

Прошло четыре томительных дня. Что будет, я не знал, но на сердце у меня было тяжело. Меня в жизни никто еще не наказывал; отец не только не трогал меня пальцем, но я от него не слышал никогда ни одного резкого слова. Теперь меня томило тяжелое предчувствие.

Наконец меня позвали к отцу, в его кабинет. Я вошел и робко остановился у притолоки. В окно заглядывало грустное осеннее солнце. Отец некоторое время сидел в своем кресле перед портретом матери и не поворачивался ко мне. Я слышал тревожный стук собственного сердца. <...>

Прошло около полминуты, и в течение этого времени я чувствовал на себе тяжелый, неподвижный, подавляющий взгляд.

— Ты взял у сестры куклу?

Эти слова упали вдруг на меня так отчетливо и резко, что я вздрогнул.

— Да, — ответил я тихо.

— А знаешь ты, что это подарок матери, которым ты должен бы дорожить, как святыней?.. Ты украл ее?

— Нет, — сказал я, подымая голову.

— Как нет? — вскрикнул вдруг отец, отталкивая кресло. — Ты украл ее и снес!.. Кому ты снес ее?.. Говори!

Он быстро подошел ко мне и положил мне на плечо тяжелую руку. Я с усилием поднял голову и взглянул вверх. Лицо отца было бледно, глаза горели гневом. Я весь съежился.

— Ну, что же ты?.. Говори! — И рука, державшая мое плечо, сжала его сильнее.

— Н-не скажу! — ответил я тихо.

— Нет, скажешь! — отчеканил отец, и в голосе его зазвучала угроза.

— Не скажу, — прошептал я еще тише.

— Скажешь, скажешь!..

Он повторил это слово сдавленным голосом, точно оно вырвалось у него с болью и усилием. Я чувствовал, как дрожала его рука, и все ниже опускал голову; слезы одна за другой капали из моих глаз на пол, но я все повторял едва слышно:

— Нет, не скажу... никогда, никогда не скажу вам... Ни за что!

В эту минуту во мне сказался сын моего отца. Он не добился бы от меня иного ответа самыми страшными муками. В моей груди, навстречу его угрозам, подымалось едва осознанное оскорбленное чувство покинутого ребенка и какая-то жгучая любовь к тем, кто меня пригрел там, в старой часовне.

Отец тяжело перевел дух. Я съежился еще более, горькие слезы жгли мои щеки. Я ждал.

Отец опять тяжело вздохнул. Справился ли он сам с овладевшим им исступлением, я до сих пор не знаю. Но в эту критическую минуту раздался вдруг за открытым окном резкий голос Тыбурция:

— Эге-ге!.. Мой бедный маленький друг...

«Тыбурций пришел!» — промелькнуло у меня в голове, но, даже чувствуя, как дрогнула рука отца, лежавшая на моем плече, я не представлял себе, чтобы появление Тыбурция или какое бы то ни было другое внешнее обстоятельство могло стать между мною и отцом, могло отклонить то, что я считал неизбежным.

Между тем Тыбурций быстро отпер входную дверь и, остановившись на пороге, в одну секунду оглядел нас обоих своими острыми, рысьими глазами.

— Эге-ге!.. Я вижу моего молодого друга в очень затруднительном положении...

— Пан судья! — заговорил он мягко. — Вы человек справедливый... отпустите ребенка. Малый был в «дурном обществе», но, видит бог, он не сделал дурного дела, и если его сердце лежит к моим оборванным беднякам, то, клянусь, лучше велите меня повесить, но я не допущу, чтобы мальчик пострадал из-за этого. Вот твоя кукла, малый!..

Он развязал узелок и вынул оттуда куклу.

Рука отца, державшая мое плечо, разжалась. В лице виднелось изумление.

— Что это значит? — спросил он наконец.

— Отпустите мальчика, — повторил Тыбурций, и его широкая ладонь любовно погладила мою опущенную голову. — Вы ничего не добьетесь от него угрозами, а между тем я охотно расскажу вам все, что вы желаете знать... Выйдем, пан судья, в другую комнату.

Отец, все время смотревший на Тыбурция удивленными глазами, повиновался. Оба они вышли, а я остался, подавленный ощущениями, переполнившими мое сердце.

Я все еще стоял на том же месте, как дверь кабинета отворилась, и оба собеседника вошли. Я опять почувствовал на своей голове чью-то руку и вздрогнул. То была рука отца, нежно гладившая мои волосы.

Тыбурций взял меня на руки и посадил, в присутствии отца, к себе на колени.



— Приходи к нам, — сказал он, — отец тебя отпустит попрощаться с моей девочкой. Она... она умерла.

Голос Тыбурция дрогнул, он странно заморгал глазами, но тотчас же встал, поставил меня на пол, выпрямился и быстро ушел из комнаты.

Я вопросительно поднял глаза на отца. Теперь передо мной стоял другой человек, но в этом именно человеке я нашел что-то родное, чего тщетно искал в нем прежде. Он смотрел на меня обычным своим задумчивым взглядом, но теперь в этом взгляде виднелся оттенок удивления и как будто вопрос. Казалось, буря, которая только что пронеслась над нами обоими, рассеяла тяжелый туман, нависший над душой отца. И отец только теперь стал узнавать во мне знакомые черты своего родного сына.

Я доверчиво взял его руку и сказал.

— Я ведь не украл... Соня сама дала мне на время...

— Д-да, — ответил он задумчиво, — я знаю... Я виноват перед тобою, мальчик, и ты постарайся когда-нибудь забыть это, не правда ли?

Я с живостью схватил его руку и стал ее целовать. Я знал, что теперь никогда уже он не будет смотреть на меня теми страшными глазами, какими смотрел за несколько минут перед тем, и долго сдерживаемая любовь хлынула целым потоком в мое сердце.

Теперь я его уже не боялся.

— Ты отпустишь меня теперь на гору? — спросил я, вспомнив вдруг приглашение Тыбурция.

— Д-да... Ступай, ступай, мальчик, попрощайся, — ласково проговорил он все еще с тем же оттенком недоумения в голосе. — Да, впрочем, постой... пожалуйста, мальчик, погоди немного.

Он ушел в свою спальню и, через минуту выйдя оттуда, сунул мне в руку несколько бумажек.

— Передай это... Тыбурцию... Скажи, что я покорнейше прошу его — понимаешь?... покорнейше прошу — взять эти деньги... от тебя... Ты понял?..

Я догнал Тыбурция уже на горе, и, запыхавшись, нескладно исполнил поручение отца.

— Покорнейше просит... отец... — И я стал совать ему в руку данные отцом деньги.

В подземелье, в темном углу, на лавочке лежала Маруся. Слово «смерть» не имеет еще полного значения для детского слуха, и горькие слезы только теперь, при виде этого безжизненного тела, сдавили мне горло. Моя маленькая приятельница лежала серьезная и грустная, с печально вытянутым личиком. Закрытые глаза слегка ввалились и еще резче оттенились синевой. Ротик немного раскрылся, с выражением детской печали. Маруся как будто отвечала этую гримаской на наши слезы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вскоре после описанных событий члены «дурного общества» рассеялись в разные стороны.

Тыбурций и Валек совершенно неожиданно исчезли, и никто не мог сказать, куда они направились теперь, как никто не знал, откуда они пришли в наш город.

Старая часовня сильно пострадала от времени. Сначала у нее провалилась крыша, продавив потолок подземелья. Потом вокруг часовни стали образовываться обвалы, и она стала еще мрачнее; еще громче завывают в ней филины, а огни на могилах темными осенними ночами вспыхивают синим зловещим светом.

Только одна могила, огороженная частоколом, каждую весну зеленела свежим дерном, пестрела цветами. Мы с Соней, а иногда даже с отцом посещали эту могилу; мы любили сидеть в тени смутно лепечущей березы, в виду тихо сверкавшего в тумане города. Тут мы с сестрой вместе читали, думали, делились своими первыми молодыми мыслями, первыми планами крылатой и честной юности.

Когда же пришло время и нам оставить тихий родной город, здесь же, в последний день, мы оба, полные жизни и надежды, произносили над маленькою могилкой свои обеты.

Вопросы и задания

I. Ваши первые впечатления

1. Какое впечатление на вас произвело описание городка и старого замка, приведенное в начале рассказа?
2. Какие эпизоды запомнились?

II. Разберемся в прочитанном

1. Из кого состояло «дурное общество»?
2. Как к этим людям относились добропорядочные жители города?
3. Кто и почему изгнал бедных, бездомных людей из замка?
4. Чем сначала привлекала героя рассказа часовня на горе?
5. Какие ощущения испытал Вася, увидев в часовне мальчика и его сестренку? Как он повел себя в первые минуты знакомства с ними?
6. Чем можно объяснить ту искреннюю дружбу, которая завязалась между Васей и «детьми подземелья»? Что испытывал Вася по отношению к своим новым друзьям? Только ли чувство жалости руководило им?
7. На что решился Вася, чтобы доставить радость больной Марусе? Знал ли он, что за свой поступок он будет строго наказан?
8. Объясните, под влиянием кого и чего у Васи изменилось отношение к своему отцу. Какой случай помог ему убедиться в высокой порядочности и справедливости своего отца?

III. О самом главном

1. О чем это произведение? Постарайтесь определить главную мысль произведения. При ответе на данный вопрос используйте слова: милосердие, сострадание, сочувствие, справедливость, доброта, порядочность.
2. Авторское название произведения «В дурном обществе». Как вы думаете, действительно ли В. Г. Короленко считает общество, в которое попал Вася, «дурным», то есть плохим, недостойным? Подтвердите свои выводы примерами из рассказа.
3. Как вы понимаете слова Тыбурция: «... Может быть, это и хорошо, что твоя дорога пролегла через нашу. Для тебя хорошо,

потому что лучше иметь в груди кусочек человеческого сердца вместо холодного камня...»

IV. Будьте внимательны к художественному слову

1. В произведении очень ярко представлены портретные описания героев — Валека, Маруси, Тыбурция, Сони. Как эти описания помогают представить обстановку и условия, в которых живут и действуют эти персонажи, их характер, привычки?

2. Как вы понимаете выражение: «Я тебе не компания...» Кем они были сказаны и по какому поводу?

3. Найдите в повести слова и выражения, которыми автор описывает место обитания семьи Тыбурция. Какие «краски» использует автор? Какое чувство вызывает такое описание у читателя.

4. Объясните выражение: «Серый камень высосал из нее (Маруси) жизнь...» Вспомните, что такое метафора. Можно ли приведенные выше слова считать метафорическим выражением?

5. Подготовьте художественный пересказ одного из эпизодов, например: «Помнил ли я матушку?», «Экскурсия в часовню», «Знакомство Васи с паном Тыбурцием», «Последняя осень Маруси», «Суд и прощение отца».

6. Подготовьте чтение в лицах одного из диалогов. Обратите внимание на то, как выглядят герои в этой сцене, что они переживают.

V. Литература и другие виды искусства

1. Рассмотрите иллюстрации к произведению. Озаглавьте их словами текста. Подумайте, какие устные иллюстрации можно создать самим.

2. Вам, вероятно, знакома песня «Генералы песчаных карьеров». Какое чувство вызывает у вас судьба героев песни? Есть ли что-то общее в судьбах героев песни и «детей подземелья»?

VI. Выполните самостоятельно

1. Подберите из Интернета информацию о домах милосердия «Мехрибонлик». Подготовьте сообщение на тему «Сен ёлгиз эмассан» («Ты не одинок»).

2. Расскажите, как Правительство Узбекистана и общественность республики заботятся о детях, оставшихся без попечения родителей.

Литература XX века

Андрей Платонович
Платонов
(1899–1951)



Если жизнь не удастся, ее невозможно исправить, прожив заново, вторично. Книги тоже следует писать каждую как единственную, не оставляя надежды в читателе, что новую, будущую книгу автор напишет лучше.

А. Платонов

Я родился в слободе Ямской, при самом Воронеже. Уже десять лет тому назад Ямская чуть отличалась от деревни. Деревню же я до слез любил, не видя ее до 12 лет. В Ямской были плетни, огороды, лопуховые пустыри, не дома, а хаты, куры, сапожники и много мужиков на Задонской большой дороге. Колокол «Чугунной» церкви был всею музыкой слободы, его умирительно слушали в тихие летние вечера старухи, нищие и я...

Потом наступило для меня время ученья — отдали меня в церковно-приходскую школу. Была там учительница — Аполлинария Николаевна, я ее никогда не забуду, потому что через нее я узнал, что есть пропетая сердцем сказка про Человека, родимого «всякому дыханию», траве и зверю... Потом я учился в городском училище. Затем началась ра-

бота. Работал я во многих местах у многих хозяев. У нас семья была одно время в 10 человек, а я старший сын — один работник, кроме отца. Отец же, слесарь, не мог кормить такую орду.

Я забыл сказать, что, кроме поля, деревни, матери и колокольного звона, я любил еще (и чем больше живу, тем больше люблю) паровозы, машину, ноющий гудок и потную работу. Я уже тогда понял, что все делается, а не само родится...

И теперь исполняется моя долгая упорная детская мечта — стать самому таким человеком, от мысли и руки которого волнуется и работает весь мир ради меня и ради всех людей, и из всех людей — я каждого знаю, с каждым спаяно мое сердце...

Андрей Платонов
Из «Автобиографического письма» (1922)

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК А. ПЛАТОНОВА

1931—1933

Писать надо не талантом, «а человечностью» — прямым чувством жизни.

1936—1938

Человечество — без облагораживания его животными и растениями — погибнет, оскудеет, впадет в злобу отчаяния, как одинокий в одиночестве.

Надо относиться к людям по-отцовски.

1941—1950

Искусство не терпит пустоты, — оно должно быть заполнено жизнью и людьми, как поле травой.

Искусство заключается в том, чтобы посредством **на и простейших** средств выразить **на и сложнейшее**...

Труд есть совесть.

Все возможно — и удастся все, но главное — сеять души в людях.

ЦВЕТОК НА ЗЕМЛЕ

Скучно Афоне жить на свете. Отец его на войне, мать с утра до вечера работает на молочной ферме, а дедушка Тит спит на печке. Он и днем спит, и ночью спит, а утром, когда просыпается и ест кашу с молоком, он тоже дремлет.

— Дедушка, ты не спи, ты уж выспался, — сказал нынче утром Афоня дедушке.

— Не буду, Афонюшка, я не буду, — ответил дед. — Я лежать буду и на тебя глядеть.

— А зачем ты глаза закрываешь и со мной ничего не говоришь? — спросил тогда Афоня.

— Нынче я не буду глаза смежать, — обещал дедушка Тит. — Нынче я на свет буду смотреть.

— А отчего ты спишь, а я нет?

— Мне годов много, Афонюшка... Мне без трех девяносто будет, глаза уж сами жмурятся.

— А тебе ведь темно спать, — говорил Афоня. — На дворе солнце горит, там трава растет, а ты спишь, ничего не видишь.

— Да я уж все видел, Афонюшка.

— А отчего у тебя глаза белые и слезы в них плачут?

— Они выцвели, Афонюшка, они от света выцвели и слабые стали; мне глядеть ведь долго пришлось.

Руки дедушки лежали на столе; они были большие, кожа на них стала как кора на дереве, и под кожей видны были толстые черные жилы, эти руки много земли испахали.

Афоня поглядел в глаза деду. Глаза его были открыты, но смотрели равнодушно, не видя ничего, и в каждом глазу светилась большая капля слезы.

— Не спи, дедушка! — попросил Афоня.

Но дедушка уже спал. Мать подсадила его, сонного, на печку, укрыла одеялом и ушла работать. Афоня же остался один в избе, и опять ему скучно стало. Он ходил вокруг деревянного стола, смотрел на мух, которые окружили на полу хлебную крошку и ели ее; потом Афоня подходил к печке, слушал, как дышит там спящий дед, смотрел через окно на пустую улицу и снова ходил вокруг стола, не зная, что делать.

— Мамы нету, папы нет, дедушка спит, — говорил Афоня сам себе.

Потом он посмотрел на часы-ходики, как они идут. Часы шли долго и скучно: тик-так, тик-так, будто они баюкали деда, а сами тоже утомились и хотели уснуть.

— Проснись, дедушка, — просил Афоня. — Ты спишь?

— А? Нету, я не сплю, — ответил дедушка Тит с печки.

— Ты думаешь? — спрашивал Афоня.

— А? Я тут, Афоня, я тут.

— Ты думаешь там?

— А? Нету, я все обдумал, Афонюшка, я смолоду думал.

— Дедушка Тит, а ты все знаешь?

— Все, Афоня, я все знаю.

— А что это, дедушка?

— А чего тебе, Афонюшка?

— А что это все?

— А я уж позабыл, Афоня.

— Проснись, дедушка, скажи мне про все!

— А? — произнес дедушка Тит.

— Дедушка Тит! Дедушка Тит! — звал Афоня, — Ты вспомни!

Но дед уже умолк, он опять уснул в покое на русской печи.

Афоня тогда сам залез на печь к дедушке и начал будить его, чтобы он проснулся. А дед спал и только шептал тихо во сне неслышные слова. Афоня утомился его будить и сам

уснул возле деда, прильнув к его доброй знакомой груди, пахнувшей теплой землею.

Очнувшись от сна, Афоня увидел, что дед глядит глазами и не спит.

— Вставай, дедушка, — сказал Афоня. А дед опять закрыл глаза и уснул.

Афоня подумал, что дед тогда не спит, когда он спит; и он захотел никогда не спать, чтобы подкараулить деда, когда он совсем проснется.

И Афоня стал ожидать. Часы-ходики тикали, и колесики их поскрипывали и напевали, баюкая деда.

Афоня тогда слез с печи и остановил маятник у часов. В избе стало тихо. Слышно стало, как отбивает косу косарь за рекой и тонко звенит мошка под потолком.

Дедушка Тит очнулся и спросил:

— Ты чего, Афоня? Что-то шумно так стало? Это ты шумел?

— А ты не спи! — сказал Афоня. — Ты скажи мне про все! А то ты спишь и спишь, а потом умрешь, мама говорит — тебе недолго осталось; кто мне тогда скажет про все?

— Обожди, дай мне квасу испить, — произнес дед и слез с печи.

— Ты опомнился? — спросил Афоня.

— Опомнился, — ответил дед. — Пойдем сейчас белый свет пытаться.

Старый Тит испил квасу, взял Афоню за руку, и они пошли из избы наружу.

Там солнце высоко стояло на небе и освещало зреющий хлеб на полях и цветы на дорожной меже.

Дед повел Афоню полевой дорогой, и они вышли на пастбище, где рос сладкий клевер для коров, травы и цветы. Дед остановился у голубого цветка, терпеливо росшего корнем из мелкого чистого песка, показал на него Афоне, потом согнулся и осторожно потрогал тот цветок.

— Это я сам знаю! — протяжно сказал Афоня. — А мне нужно, что самое главное бывает, ты скажи мне про все! А этот цвет растет, он не все!

Дедушка Тит задумался и осерчал на внука.

— Тут самое главное тебе и есть!.. Ты видишь — песок мертвый лежит, он каменная крошка, и более нет ничего, а камень не живет и не дышит, он мертвый прах. Понял теперь?

— Нет, дедушка Тит, — сказал Афоня. — Тут понятно-го нету.

— Ну, не понял, так чего же тебе надо, раз ты непонятливый? А цветок, ты видишь, жалконький такой, а он живой, и тело себе он сделал из мертвого праха. Стало быть, он мертвую сыпучую землю обращает в живое тело, и пахнет от него самого чистым духом. Вот тебе и есть самое главное дело на белом свете, вот тебе и есть, откуда все берется. Цветок этот — самый святой труженик, он из смерти работает жизнь.

— А трава и рожь тоже главное делают? — спросил Афоня.

— Одинаково, — сказал дедушка Тит.

— А мы с тобой?

— И мы с тобой. Мы пахари, Афонюшка, мы хлебу расти помогаем. А этот вот желтый цвет на лекарство идет, его и в аптеке берут. Ты бы нарвал их да снес. Отец-то твой ведь на войне; вдруг поранят его, или он от болезни ослабнет, вот его и полечат лекарством.

Афоня задумался среди трав и цветов. Он сам, как цветок, тоже захотел теперь делать из смерти жизнь; он думал о том, как рождаются из сыпучего скучного песка голубые, красные, желтые счастливые цветы, поднявшие к небу свои добрые лица и дышащие чистым духом в белый свет.

— Теперь я сам знаю про все! — сказал Афоня. — Иди домой, дедушка, ты опять, должно, спать захотел: у тебя глаза белые... Ты спи, а когда умрешь, ты не бойся, я уз-

наю у цветов, как они из праха живут, и ты опять будешь жить из своего праха. Ты, дедушка, не бойся!

Дед Тит ничего не сказал. Он невидимо улыбнулся своему доброму внуку и пошел опять в избу на печку.

А маленький Афоня остался один в поле. Он собрал желтых цветов, сколько мог их удержать в охапке, и отнес в аптеку, на лекарства, чтобы отец его не болел на войне от ран. В аптеке Афоне дали за цветы железный гребешок. Он принес его деду и подарил ему: пусть теперь дедушка чешет себе бороду тем гребешком.

— Спасибо тебе, Афонюшка, — сказал дед. — А цветы тебе ничего не сказывали, из чего они в мертвом песке живут?

— Не сказывали, — ответил Афоня. — Ты вон сколько живешь, и то не знаешь. А говорил, что знаешь про все. Ты не знаешь.

— Правда твоя, — согласился дед.

— Они молча живут, надо у них допытаться, — сказал Афоня. — Чего все цветы молчат, а сами знают?

Дед кротко улыбнулся, погладил головку внука и посмотрел на него, как на цветок, растущий на земле. А потом дедушка спрятал гребешок за пазуху и опять заснул.

Вопросы и задания

1. С каким вопросом обращается маленький Афоня к своему деду?
2. Куда отправились дед Тит и его внук в поисках ответа на вопрос «про все!»?
3. Что сказал Афоня, когда дед Тит показал ему голубой цветок, росший на пастбище? Почему дед Тит «задумался и осерчал на внука»?

I. Порассуждаем над рассказом

1. Прочитайте еще раз эпизод, где дед пытается объяснить своему внуку «самое главное дело на белом свете» (от слов «Дед повел Афоню полевой дорогой...» до слов «Цветок этот — самый

святой труженик, он из смерти работает жизнь»). Отозвался ли в «умном сердце» мальчика мудрый урок деда? Какое чувство его посетило?

2. Как вы думаете, какой смысл вложен в следующие слова автора: «Дед кротко улыбнулся, погладил голову внука и посмотрел на него, как на цветок, растущий на земле»? Как эти слова соотносятся с названием рассказа?

II. Развитие речи

Напишите сочинение на тему «Главное дело на белом свете (читая рассказ Андрея Платонова «Цветок на земле»)».

Валентин
Григорьевич
Распутин
(1937–2015)



Верю в добро, побеждающее зло, в накопление и объединение добра, в то, что оно свободно будет избрано всеми.

В. Распутин

У Валентина Распутина есть произведения, адресованные как взрослым, так и детям. В их числе и «Уроки французского». «Я написал этот рассказ, — вспоминает писатель, — в надежде, что преподанные мне в свое время уроки лягут на душу как маленького, так и взрослого читателя».

«Уроки французского» выросли из вполне реальной истории, героиня которой однажды случайно наткнулась на книгу своего ученика. Вот что пишет об этом сам автор: «Этот рассказ, когда он впервые появился в книжке, помог мне разыскать мою учительницу Лидию Михайловну. Она купила мою книжку, узнала в авторе меня, а в героине рассказа себя и написала мне».

Удивительно, но Лидия Михайловна, оказывается, не помнит, что она похожим же, как в рассказе, образом отправляла мне посылку с макаронами. Я это прекрасно помню и ошибаться не могу: было. Меня сначала поразило: как же так — не помнит?! Как можно такое забыть?! Но, поразмыслив, я понял, что удивительного тут в сущности нет ничего: истинное добро со стороны того, кто творит его, имеет мень-

шую память, чем со стороны того, кто его принимает. Так и должно быть. На то оно и добро, чтобы не искать прямой отдачи (я помог тебе — изволь и ты мне помогать), а быть бескорыстным и уверенным в своей тихой чудодейственной силе. И если, уйдя от человека, добро возвращается к нему через много лет совсем с другой стороны, тем больше оно обошло людей и тем шире был круг его действия».

УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО

Анастасии Прокопьевне Копыловой

Странно: почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, что было в школе, — нет, а за то, что случилось с нами после.

* * *

Я пошел в пятый класс в сорок восьмом году. Правильней сказать, поехал: у нас в деревне была только начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из дому за пятьдесят километров в райцентр. За неделю раньше туда съездила мать, уговорила со своей знакомой, что я буду квартировать у нее, а в последний день августа дядя Ваня, шофер единственной в колхозе полуторки, выгрузил меня на улице Подкаменной, где мне предстояло жить, помог занести в дом узел с постелью, ободряюще похлопал на прощанье по плечу и укатил. Так, в одиннадцать лет, началась моя самостоятельная жизнь.

Голод в тот год еще не отпустил, а нас у матери было трое, я самый старший. Весной, когда пришлось особенно туго, я глотал сам и заставлял глотать сестренку глазки проросшей картошки и зерна овса и ржи, чтобы развести посадки в животе, — тогда не придется все время думать о еде. <...>

Трудно сказать, как решилась мать отпустить меня в район (райцентр у нас называли районом). Жили мы без отца, жили совсем плохо, и она, видно, рассудила, что хуже уже не будет — некуда. Учился я хорошо, в школу ходил с удовольствием и в деревне признавался за грамотея: писал за старух и читал письма, перебрал все книжки, которые оказались в нашей неказистой библиотеке, и по вечерам рассказывал из них ребятам всякие истории, больше того добавляя от себя <...>

И мать, наперекор всем несчастьям, собрала меня, хотя до того никто из нашей деревни в районе не учился. Я был первый. Да я не понимал как следует, что мне предстоит, какие испытания ждут меня, голубчика, на новом месте.

Учился я и тут хорошо. Что мне оставалось?— затем я сюда и приехал, другого дела у меня здесь не было, а относиться спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я тогда еще не умел. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останься у меня невыученным хоть один урок, поэтому по всем предметам, кроме французского, у меня держались пятерки.

С французским у меня не ладилось из-за произношения. Я легко запоминал слова и обороты, быстро переводил, прекрасно справлялся с трудностями правописания, но произношение с головой выдавало все мое ангарское происхождение вплоть до последнего колена, где никто сроду не выговаривал иностранных слов, если вообще подозревал об их существовании. Я шпарил по-французски на манер наших деревенских скороговорок, половину звуков за ненадобностью проглатывая, а вторую половину выпаливая короткими лающими очередями. Лидия Михайловна, учительница французского, слушая меня, бессильно морщилась и закрывала глаза. Ничего подобного она, конечно, не слыхивала. Снова и снова она показывала, как произносятся носовые, сочетания гласных, просила повторить — я терялся, язык у меня во рту деревенел и не двигался. Все было впустую. Но самое страшное начиналось, когда я приходил из школы. Там я

невольно отвлекался, все время вынужден был что-то делать, там меня тормозили ребята, вместе с ними — хочешь не хочешь — приходилось двигаться, играть, а на уроках — работать. Но едва я оставался один, сразу наваливалась тоска — тоска по дому, по деревне. Хотелось только одного, мечталось об одном — домой и домой. Я сильно похудел; мать, приехавшая в конце сентября, испугалась за меня. При ней я крепился, не жаловался и не плакал, но, когда она стала уезжать, не выдержал и с ревом погнался за машиной. Мать махала мне рукой из кузова, чтобы я отстал, не позорил себя и ее, — я ничего не понимал. Тогда она решилась и остановила машину.

— Собирайся, — потребовала она, когда я подошел. — Хватит, отучился, поедем домой.

Я опомнился и убежал.

Но похудел я не только из-за тоски по дому. К тому же еще я постоянно недоедал. Осенью, пока дядя Ваня возил на своей полуторке хлеб в заготзерно¹, стоявшее неподалеку от райцентра, еду мне присылали довольно часто, примерно раз в неделю. Но вся беда в том, что мне ее не хватало. Ничего там не было, кроме хлеба и картошки, изредка мать набивала в баночку творогу, который у кого-то под что-то брала: корову она не держала. Привезут — кажется много,хватишься через два дня — пусто. Я очень скоро стал замечать, что добрая половина моего хлеба куда-то самым таинственным образом исчезает. Проверил — так и есть: был — нету. То же самое творилось с картошкой. Кто потаскивал — тетя Надя ли, крикливая, замотанная женщина, которая одна мыкалась с тремя ребяташками, кто-то из ее старших девчонок или младший, Федька, — я не знал, я боялся даже думать об этом, не то что следить.

Голод здесь совсем не походил на голод в деревне. Там всегда, и особенно осенью, можно было что-то перехватить,

¹ *Заготзерно* – территория, где находится заготовленное зерно.

сорвать, выкопать, поднять, в Ангаре ходила рыба, в лесу летала птица. Тут для меня все вокруг было пусто: чужие люди, чужие огороды, чужая земля... По вечерам околачивался у чайной, на базаре, запоминая, что почему продают, давился слюной и шел ни с чем обратно. На плите у тети Нади стоял горячий чайник; пошвырнув гольного кипяточку и согрев желудок, ложился спать. Утром опять в школу. <...>

* * *

Однажды, еще в сентябре, Федька спросил у меня:

— Ты в «чику» играть не боишься?

— В какую «чику»? — не понял я.

— Игра такая. На деньги. Если деньги есть, пойдем сыграем.

— Нету.

— И у меня нету. Пойдем так, хоть посмотрим. Увидишь, как здорово.

Федька повел меня за огороды. Мы прошли по краю продолговатого, грядой, холма, сплошь заросшего крапивой, уже черной, спутанной, с отвисшими ядовитыми гроздьями семян, перебрались, прыгая по кучам, через старую свалку и в низинке, на чистой и ровной небольшой поляне, увидели ребят. Мы подошли. Ребята насторожились. Все они были примерно тех же лет, что и я, кроме одного — рослого и крепкого, заметного своей силой и властью, парня с длинной рыжей челкой. Я вспомнил: он ходил в седьмой класс.

— Этого еще зачем привел? — недовольно сказал он Федьке.

— Он свой, Вадик, свой, — стал оправдываться Федька. — Он у нас живет.

— Играть будешь? — спросил меня Вадик.

— Денег нету.

— Гляди, не вякни кому, что мы здесь.

— Вот еще! — обиделся я.

Больше на меня не обращали внимания, я отошел в сторонку и стал наблюдать.

Мне казалось, что будь у меня деньги, я бы смог играть. В деревне мы возились с бабками, но и там нужен точный глаз. А я, кроме того, любил придумывать для себя забавы на меткость: наберу горсть камней, отыщу цель потруднее и бросаю в нее до тех пор, пока не добьюсь полного результата — десять из десяти. Бросал и сверху, из-за плеча, и снизу, навешивая камень над целью. Так что кой-какая сноровка у меня была. Не было денег.

Мать потому и отправляла мне хлеб, что денег у нас не водилось, иначе я покупал бы его и здесь. Откуда им в колхозе взяться? Все же раза два она подкладывала мне в письмо по пятерке — на молоко. На теперешние это пятьдесят копеек, не разживешься, но все равно деньги, на них на базаре можно было купить пять поллитровых баночек молока, по рублю за баночку. Молоко мне наказано пить от малокровия, у меня часто ни с того ни с сего принималась вдруг кружиться голова.

Но, получив пятерку в третий раз, я не пошел за молоком, а разменял ее на мелочь и отправился за свалку.

В первый раз я спустил девяносто копеек, во второй — шестьдесят. Денег было, конечно, жалко, но я чувствовал, что приноравливаюсь к игре... По вечерам, когда все расходились, я снова возвращался сюда, доставал из-под камня спрятанную Вадиком шайбу, выгребал из кармана свою мелочь и бросал, пока не темнело. Я добился того, что из десяти бросков три или четыре угадывали точно на деньги.

И, наконец, наступил день, когда я остался в выигрыше.
<...>

Теперь каждый день после школы я прибежал сюда. Ребята менялись, появлялись новички, и только Вадик не пропускал ни одной игры. Она без него и не начиналась. За

Вадиком как тень следовал большеголовый, стриженный под машинку, коренастый парень, по прозвищу Птаха. В школе я Птаху до этого не встречал, но, забегаая вперед, скажу, что в третьей четверти он вдруг, как снег на голову, свалился на наш класс. Оказывается, остался в пятом на второй год и под каким-то предлогом устроил себе до января каникулы. Птаха тоже обычно выигрывал, хоть и те так, как Вадик, поменьше, но в убытке не оставался. Да потому, наверно, и не оставался, что был заодно с Вадиком и тот ему потихоньку помогал. <...>

А я выигрывал. Я стал выигрывать постоянно, каждый день. У меня был свой расчет: не надо катать шайбу по площадке, добиваясь права на первый удар; когда много играющих, это не просто: чем ближе тянешься к черте, тем больше опасности перевалить за нее и остаться последним. Надо накрывать кассу при броске. Так я и делал.

Теперь у меня появились деньги. Я не позволял себе чересчур увлекаться игрой и торчать на полянке до вечера, мне нужен был рубль, каждый день по рублю. Получив его, я убегал, покупал на базаре баночку молока (тетки ворчали, глядя на мои погнутые, побитые, истерзанные монеты, но молоко наливали), обедал и садился за уроки.

Поначалу Вадик спокойно относился к моим выигрышам. Он и сам не оставался в накладе, а из его кармана вряд ли мне что-нибудь перепало. Иногда он даже похваливал меня: вот, мол, как надо бросать, учитеь, мазиы. Однако вскоре Вадик заметил, что я слишком быстро выхожу из игры, и однажды остановил меня:

— Ты что это — загреб кассу и драть? Ишь шустрый какой! Играй.

— Мне уроки надо, Вадик, делать, — стал отговариваться я.

— Кому надо делать уроки, тот сюда не ходит.

А Птаха подпел:

— Кто тебе сказал, что так играют на деньги? За это, хочешь знать, бьют маленько. Понял?.. <...>

Я только что опять угодил в деньги и шел собирать их, когда заметил, что Вадик наступил ногой на одну из рассыпавшихся по сторонам монет.

Я подошел к нему и попытался сдвинуть его ногу с монеты, но он оттолкнул меня, быстро схватил ее с земли и показал мне решку. Я успел заметить, что монета была на орле, — иначе он не стал бы ее закрывать.

— Ты перевернул ее, — сказал я. — Она была на орле, я видел.

Он сунул мне под нос кулак.

— А этого ты не видел? Понюхай, чем пахнет.

Мне пришлось смириться. Настаивать на своем было бессмысленно: если начнется драка, никто, ни одна душа за меня не заступится, даже Тишкин, который вертелся тут же.

Злые, прищуренные глаза Вадика смотрели на меня в упор. Я нагнулся, тихонько ударил по ближней монете, перевернул ее и подвинул вторую. Снова наставил шайбу для удара, но опустить уже не успел: кто-то вдруг сильно поддал мне сзади коленом, и я неловко, склоненной вниз головой, ткнулся в землю. Вокруг засмеялись.

За мной, ожидающе улыбаясь, стоял Птах. Я опешил:

— Чего-о ты?!

— Кто тебе сказал, что это я? — отперся он. — Приснилось, что ли?

— Давай сюда! — Вадик протянул руку за шайбой, но я не отдал ее.

Обида перехлестнула во мне страх, ничего на свете я больше не боялся. За что? За что они так со мной? Что я им сделал?

— Давай сюда! — потребовал Вадик.

— Ты перевернул ту монетку! — крикнул я ему. — Я видел, что перевернул. Видел.

— Ну-ка, повтори, — надвигаясь на меня, попросил он.

— Ты перевернул ее, — уже тише сказал я, хорошо зная, что за этим последует.



Первым, опять сзади, меня ударил Птаха. Я полетел на Вадика, он быстро и ловко, не примериваясь, поддел меня головой в лицо, и я упал, из носу у меня брызнула кровь...

Они били меня по очереди, один и второй, один и второй. Кто-то третий, маленький и злобный, пинал меня по ногам, потом они почти сплошь покрылись синяками. Я старался только не упасть, ни за что больше не упасть, даже в те минуты мне казалось это позором. Но в конце концов они повалили меня на землю и остановились.

— Иди отсюда, пока живой! — скомандовал Вадик. — Быстро!

* * *

Утром я со страхом смотрел на себя в зеркало: нос вспух и раздулся, под левым глазом синяк, а ниже его, на щеке, изгибается жирная кровавая ссадина. Как идти в школу в таком виде я не представлял, но как-то идти надо было, пропускать по какой бы то ни было причине уроки я не решался...

Прикрывая глаз рукой, я юркнул в класс, сел за свою парту и опустил голову. Первым уроком, как назло, был французский. Лидия Михайловна, по праву классного руководителя, интересовалась нами больше других учителей, и скрыть от нее что-либо было трудно. Она входила, здоровалась, но до того, как посадить класс, имела привычку внимательным образом осматривать почти каждого из нас, делая будто бы и шутливые, но обязательные для исполнения замечания. И знаки на моем лице она, конечно, увидела сразу, хоть я как мог и прятал их; я понял это потому, что на меня стали оборачиваться ребята.

— Ну вот, — сказала Лидия Михайловна, открывая журнал. — Сегодня среди нас есть раненые.

Класс засмеялся, а Лидия Михайловна снова подняла на меня глаза. Они у нее косили и смотрели словно бы мимо,

но мы к тому времени уже научились распознавать, куда они смотрят.

— И что случилось? — спросила она.

— Упал, — брякнул я, почему-то не догадавшись заранее придумать хоть мало-мальски приличное объяснение.

— Ой, как неудачно. Вчера упал или сегодня?

— Сегодня. Нет, вчера вечером, когда темно было.

— Хи, упал! — выкрикнул Тишкин, захлебываясь от радости. — Это ему Вадик из седьмого класса поднес. Они на деньги играли, а он стал спорить и заработал. Я же видел. А говорит, упал.

Больше всего я боялся, что Лидия Михайловна потащит меня к директору. Это значит, что, кроме сегодняшней беседы, завтра меня выведут перед школьной линейкой и заставят рассказывать, что меня побудило заниматься этим грязным делом.

После уроков, замирая от страха, я ждал Лидию Михайловну в коридоре. Она вышла из учительской и, кивнув, завела меня в класс. Как всегда, она села за стол, я хотел устроиться за третьей партой, подальше от нее, но Лидия Михайловна показала мне на первую, прямо перед собой.

— Это правда, что ты играешь на деньги? — сразу начала она. Она спросила слишком громко, мне казалось, что в школе об этом нужно говорить только шепотом, и я испугался еще больше.

Но запираться никакого смысла не было, Тишкин успел продать меня с потрохами. Я промямлил:

— Правда.

— Ну и как — выигрываешь или проигрываешь?

Я замялся, не зная, что лучше.

— Давай рассказывай, как есть. Проигрываешь, наверное?

— Вы... выигрываю.

— Хорошо, хоть так. Выигрываешь, значит. И что ты делаешь с деньгами?

<...> Лидия Михайловна спрашивала так, будто была в это время занята чем-то другим, более важным, но от вопросов ее все равно было не уйти.

— Ну, так что ты делаешь с деньгами, которые выигрываешь? Покупаешь конфеты? Или книги? Или копишь на что-нибудь? Ведь у тебя их, наверное, теперь много?

— Нет, не много. Я только рубль выигрываю.

— И больше не играешь?

— Нет.

— А рубль? Почему рубль? Что ты с ним делаешь?

— Покупаю молоко.

— Молоко?

Она помолчала, рассматривая меня, и я кожей почувствовал, как при взгляде ее косящих внимательных глаз все мои беды и несуразности прямо-таки взбухают и наливаются своей дурной силой. Посмотреть, конечно, было на что: перед ней крючился на парте тощий диковатый мальчишка с разбитым лицом, неопрятный без матери и одинокий, в старом, застиранном пиджачишке на обвислых плечах, который впору был на груди, но из которого далеко вылезали руки...

— И все-таки на деньги играть не надо, — задумчиво сказала Лидия Михайловна. — Обошелся бы ты как-нибудь без этого. Можно обойтись?

Не смея поверить в свое неожиданное спасение, я легко пообещал:

— Можно.

Я говорил искренне, но что поделаешь, если искренность нашу нельзя привязать веревками. <...>

Меня зудило посмотреть, как отнесутся к моему появлению Вадик и Птаха и как смогу держать себя я. Но больше всего подгонял голод. Мне нужен был рубль — уже не на молоко, а на хлеб. Других путей раздобыть его я не знал.

Я подошел, и игра сама собой приостановилась, все усталились на меня.

Первым встретил меня Птаха:

— Чего пришел? Давно не били?

— Играть пришел, — как можно спокойней ответил я, глядя на Вадика.

— Кто тебе сказал, что с тобой, — Птаха выругался, — будут тут играть?

— Никто...

— Что, Вадик, сразу будем бить или подождем немножко?

— Чего ты пристал к человеку, Птаха? — щурясь на меня, сказал Вадик. — Понял, человек играть пришел. Может, он у нас с тобой по десять рублей хочет выиграть?

— У вас нет по десять рублей, — только чтобы не казаться себе трусом, сказал я.

— У нас есть больше, чем тебе снилось. Ставь, не разговаривай, пока Птаха не рассердился. А то он человек горячий.

— Дать ему, Вадик?

— Не надо, пусть играет. — Вадик подмигнул ребятам. — Он здорово играет, мы ему в подметки не годимся.

Я решил играть осторожно и не зариться на кассу. Как и все, чтобы не выделяться, я катал шайбу, боясь ненароком угодить в деньги, потом тихонько тюкал по монетам и оглядывался, не зашел ли сзади Птаха. В первые дни я не позволял себе мечтать о рубле; копеек двадцать-тридцать, на кусок хлеба, и то хорошо, и то давай сюда.

Но то, что должно было рано или поздно случиться, случается, случилось. На четвертый день, когда, выиграв рубль, я собрался уйти, меня снова избили. <...>

* * *

<...> Оказалось, что и это еще не самое страшное. Лидия Михайловна вдруг решила, что времени в школе у нас до второй смены остается в обрез, и сказала, чтобы я по вечерам приходил к ней на квартиру. Жила она рядом со школой, в учительских домах. На другой, большей половине дома Лидии Михайловны жил сам директор.

Я шел туда как на пытку... Мне надо было говорить, чтобы я раздевался, проходил в комнату, садился — меня приходилось передвигать, словно вещь, и чуть ли не силой добывать из меня слова. Моим успехам во французском это никак не способствовало. Но, странное дело, мы и занимались здесь меньше, чем в школе, где нам будто бы мешала вторая смена. Больше того, Лидия Михайловна, хлопоча что-нибудь по квартире, расспрашивала меня или рассказывала о себе.

Лидии Михайловне тогда было, наверное, лет двадцать пять или около того; я хорошо помню ее правильное и потому не слишком живое лицо с прищуренными, чтобы скрыть в них косинку, глазами; тугую, редко раскрывающуюся до конца улыбку и совсем черные, коротко остриженные волосы.



Стыдно сейчас вспомнить, как я пугался и терялся, когда Лидия Михайловна, закончив наш урок, звала меня ужинать...

Я вскакивал и, бормоча, что сыт, что не хочу, пятился вдоль стенки к выходу. Лидия Михайловна смотрела на меня с удивлением и обидой, но остановить меня никакими силами было невозможно. Я убегал. Так повторялось несколько раз, затем Лидия Михайловна, отчаявшись, перестала приглашать меня за стол. Я вздохнул свободней.

Однажды мне сказали, что внизу, в раздевалке, для меня лежит посылка, которую занес в школу какой-то мужик. Дядя Ваня, конечно, наш шофер, — какой еще мужик! Наверное, дом у нас был закрыт, а ждать меня с уроков дядя Ваня не мог — вот и оставил в раздевалке. Я с трудом дотерпел до конца занятий и кинулся вниз. Тетя Вера, школьная уборщица, показала мне на стоящий в углу белый фанерный ящичек, в каких снаряжают посылки по почте. Я удивился: почему в ящичке? — мать обычно отправляла еду в обыкновенном мешке. Может быть, это и не мне вовсе? Нет, на крышке были выведены мой класс и моя фамилия. Видно, надписал уже здесь дядя Ваня — чтобы не перепутали, для кого. Что это мать выдумала заколачивать продукты в ящик? Глядите, какой интеллигентной стала! <...>

Заглянув в посылку, я обомлел: сверху, прикрытые аккуратно большим белым листом бумаги, лежали макароны. Вот это да! Длинные желтые трубочки, уложенные одна к другой ровными рядами, вспыхнули на свету таким богатством, дорожке которого для меня ничего не существовало. Теперь понятно, почему мать собрала ящик: чтобы макароны не поломались, не крошились, прибыли ко мне в целости и сохранности.

И вдруг я поперхнулся. Макароны... Действительно, где мать взяла макароны? Сроду их у нас в деревне не бывало, ни за какие шиши их там купить нельзя. Это что же

тогда получается? Торопливо, в отчаянии и надежде, я разгреб макароны и нашел на дне ящичка несколько больших кусков сахара и две плитки гематогена. Гематоген подтвердил: посылку отправляла не мать. Кто же в таком случае, кто? Я еще раз взглянул на крышку: мой класс, моя фамилия — мне. Интересно, очень интересно.

Я втиснул гвозди крышки на место и, оставив ящик на подоконнике, поднялся на второй этаж и постучал в учительскую. Лидия Михайловна уже ушла. Ничего, найдем, знаем, где живет, бывали. Значит, вот как: не хочешь садиться за стол — получай продукты на дом. Значит, так. Не выйдет. Больше никому. Это не мать: она бы и записку не забыла вложить, рассказала бы, откуда, с каких приисков взялось такое богатство.

Когда я бочком влез с посылкой в дверь, Лидия Михайловна приняла вид, что ничего не понимает. Она смотрела на ящик, который я поставил перед ней на пол, и удивленно спрашивала:

— Что это? Что такое ты принес? Зачем?

— Это вы сделали, — сказал я дрожащим, срывающимся голосом.

— Что я сделала? О чем ты?

— Вы отправили в школу эту посылку. Я знаю, вы.

Я заметил, что Лидия Михайловна покраснела и смутилась. Это был тот единственный, очевидно, случай, когда я не боялся смотреть ей прямо в глаза. Мне было наплевать, учительница она или моя троюродная тетка. Тут спрашивал я, а не она, и спрашивал не на французском, а на русском языке, без всяких артиклей. Пусть отвечает.

— Почему ты решил, что это я?

— Потому что у нас там не бывает никаких макарон. И гематогену не бывает.

— Как? Совсем не бывает?! — Она изумилась так искренне, что выдала себя с головой.

— Совсем не бывает. Знать надо было.

Лидия Михайловна вдруг засмеялась и попыталась меня обнять, но я отстранился от нее.

— Действительно, надо было знать. Как же это я так?! — Она на минутку задумалась. — Но тут и догадаться трудно было, честное слово! Я же городской человек. Совсем, говоришь, не бывает? Что же у вас тогда бывает?

— Горох бывает. Редька бывает.

— Горох... редька... У нас на Кубани яблоки бывают. Ох, сколько сейчас там яблок! Я нынче хотела поехать на Кубань, а приехала почему-то сюда. — Лидия Михайловна вздохнула и покосилась на меня. — Не злись. Я же хотела как лучше. Кто знал, что можно попасться на макаро-нах? Ничего, теперь буду умнее. А макароны эти ты возьми...

— Не возьму, — перебил я ее.

— Ну, зачем ты так? Я знаю, что ты голодаешь. А я живу одна, денег у меня много. Я могу покупать что захочу, но ведь мне одной... Я и ем-то помаленьку, боюсь потолстеть.

— Я совсем не голодаю.

— Не спорь, пожалуйста, со мной, я знаю. Я говорила с твоей хозяйкой. Что плохого, если ты возьмешь сейчас эти макароны и сварешь себе сегодня хороший обед. Почему я не могу тебе помочь — единственный раз в жизни? Обещаю больше никаких посылок не подсовывать.

* * *

Уроки наши на этом не прекратились, я продолжал ходить к Лидии Михайловне. Но теперь она взялась за меня по-настоящему. <...>

— Хорошо, — подбадривала меня Лидия Михайловна. — В этой четверти пятерка еще не получится, а в следующей — обязательно...

Она сделала еще попытку посадить меня за стол — напрасно. Тут я был непреклонен, упрямства во мне хватало на десятерых.

Однажды, недели через две после истории с посылкой, Лидия Михайловна, улыбаясь, спросила:

— Ну, а на деньги ты больше не играешь? Или где-нибудь собираетесь в сторонке да поигрываете?

— Как же сейчас играть?! — удивился я, показывая взглядом за окно, где лежал снег.

— А что это была за игра? В чем она заключается?

— Зачем вам? — насторожился я.

— Интересно. Мы в детстве когда-то тоже играли. Вот и хочу знать, та это игра или нет. Расскажи, расскажи, не бойся.

— Чего мне бояться?!

Я рассказал, умолчав, конечно, про Вадика, про Птаху и о своих маленьких хитростях, которыми я пользовался в игре.

— Нет, — Лидия Михайловна покачала головой. — Мы играли в «пристенки». Знаешь, что это такое?

— Нет.

— Вот смотри. — Она легко выскочила из-за стола, за которым сидела, отыскивала в сумочке монетки и отодвинула от стены стул. — Иди сюда, смотри. Я бью монетой о стену. — Лидия Михайловна легонько ударила, и монета, зазвенев, дугой отлетела на пол. — Теперь, — Лидия Михайловна сунула мне вторую монету в руку, — бьешь ты. Но имей в виду: бить надо так, чтобы твоя монета оказалась как можно ближе к моей. Чтобы их можно было замерить, достать пальцами одной руки. По-другому игра называется: замеряшки. Достанешь — значит, выиграл. Бей.

Я ударил — моя монета, попав на ребро, покатилась в угол.

— О-о,— махнула рукой Лидия Михайловна.— Далеко. Сейчас ты начинаешь. Учти: если моя монета заденет твою,

хоть чуточку, краешком,— я выигрываю вдвойне. Понимаешь?

— Чего тут непонятного?

— Сыграем?

Я не поверил своим ушам:

— Как же я с вами буду играть?

— А что такое?

— Вы же учительница?

— Ну и что? Учительница — так другой человек, что ли? Иногда надоедает быть только учительницей, учить и учить без конца. Постоянно одергивать себя: то нельзя, это нельзя. — Лидия Михайловна больше обычного прищурила глаза и задумчиво, отстраненно смотрела в окно. <...> — А я в детстве была отчаянной девчонкой, родители со мной натерпелись. Мне и теперь еще часто хочется прыгать, скакать, куда-нибудь мчаться, что-нибудь делать не по программе, не по расписанию, а по желанию. Я тут, бывает, прыгаю, скачу. Человек стареет не тогда, когда он доживает до старости, а когда перестает быть ребенком. Я бы с удовольствием каждый день прыгала, да за стенкой живет Василий Андреевич. Он очень серьезный человек. Ни в коем случае нельзя, чтобы он узнал, что мы играем в «замеряшки».

— Но мы не играем ни в какие «замеряшки». Вы только мне показали.

— Мы можем сыграть так просто, как говорят, понарошку. Но ты все равно не выдавай меня Василию Андреевичу.

— Ну что, попробуем? Не понравится — бросим.

— Давайте, — нерешительно согласился я.

— Начинай.

Мы взялись за монеты. Видно было, что Лидия Михайловна когда-то действительно играла, а я только-только примеривался к игре, я еще не выяснил для себя, как бить монетой о стену — ребром ли или плашмя, на какой высоте и с какой силой когда лучше бросать. <...> Я опомнился не

сразу и не легко, а когда опомнился и стал по-немножку присматриваться к игре, Лидия Михайловна взяла и остановила ее.

— Нет, так неинтересно, — сказала она, выпрямляясь и убирая съехавшие на глаза волосы. — Играть — так по-настоящему, а то что мы с тобой как трехлетние малыши.

<...>

Играла она шумно: вскрикивала, хлопала в ладоши, поддразнивала меня — одним словом, вела себя как обыкновенная девчонка, а не учительница, мне даже хотелось порой прикрикнуть. Но выигрывала тем не менее она, а я проигрывал. Я не успел опомниться, как на меня набежало восемьдесят копеек, с большим трудом мне удалось скостить этот долг до тридцати, но Лидия Михайловна издала пошла своей монетой на мою, и счет сразу подскочил до пятидесяти. Я начал волноваться. Мы договорились расплачиваться по окончании игры, но, если дело и дальше так пойдет, моих денег уже очень скоро не хватит, их у меня чуть больше рубля. Значит, за рубль переваливать нельзя — не то позор, позор и стыд на всю жизнь.

И тут я неожиданно заметил, что Лидия Михайловна и не старается вовсе у меня выигрывать. При замерах ее пальцы горбились, не выстилаясь во всю длину, — там, где она якобы не могла дотянуться до монеты, я дотягивался без всякой натуги. Это меня обидело, и я поднялся.

— Нет, — заявил я, — так я не играю. Зачем вы мне подыгрываете? Это нечестно.

— Но я действительно не могу их достать, — стала отказываться она. — У меня пальцы какие-то деревянные.

— Можете.

— Хорошо, хорошо, я буду стараться.

В этот день мы занимались французским минут пятнадцать-двадцать, а затем и того меньше. У нас появился другой интерес. Лидия Михайловна заставляла меня прочесть отрывок, делала замечания, по замечаниям выслушивала еще раз,

и мы не мешкая переходили к игре. После двух небольших проигрышей я стал выигрывать. Я быстро приловчился к «замеряшкам», разобрался во всех секретах, знал, как и куда бить, что делать в роли разыгрывающего, чтобы не подставить свою монету под замер.

И опять у меня появились деньги. Опять я бегал на базар и покупал молоко — теперь уже в мороженных кружках.

Конечно, принимая деньги от Лидии Михайловны, я чувствовал себя неловко, но всякий раз успокаивался тем, что это честный выигрыш. Я никогда не напрашивался на игру, Лидия Михайловна предлагала ее сама. Отказываться я не смел. Мне казалось, что игра доставляет ей удовольствие, она веселела, смеялась, тормошила меня.

Однажды в самый разгар игры в комнату вошёл директор.

Мы кричали, перебивая друг друга, когда до нас донесся удивленный, если не сказать, пораженный, но твердый, звенящий голос:

— Лидия Михайловна!

Мы замерли. В дверях стоял Василий Андреевич.

— Лидия Михайловна, что с вами? Что здесь происходит?

Лидия Михайловна медленно, очень медленно поднялась с колен, покрасневшая и взлохмаченная, и пригладив волосы, сказала:

— Я, Василий Андреевич, надеялась, что вы постучите, прежде чем входить сюда.

— Я стучал. Мне никто не ответил. Что здесь происходит? Объясните, пожалуйста. Я имею право знать как директор.

— Играем в «пристенок», — спокойно ответила Лидия Михайловна.

— Вы играете на деньги с этим?.. — Василий Андреевич ткнул в меня пальцем, и я со страху пополз за перегородку, чтобы укрыться в комнате. — Играете с учеником?! Я правильно вас понял?

— Правильно.

— Ну, знаете... — Директор задыхался, ему не хватало воздуха. — Я теряюсь сразу назвать ваш поступок. Это преступление. Растление. Сокращение. И еще, еще... Я двадцать лет работаю в школе, видывал всякое, но такое...

И он воздел над головой руки.

* * *

Через три дня Лидия Михайловна уехала. Накануне она встретила меня после школы и проводила до дому.

— Поеду к себе на Кубань, — сказала она, прощаясь. — А ты учись спокойно, никто тебя за этот дурацкий случай не тронет. Тут виновата я. Учись. — Она потрепала меня по голове и ушла.

И больше я ее никогда не видел.

Среди зимы, уже после январских каникул, мне пришла на школу по почте посылка. Когда я открыл ее, достав опять топор из-под лестницы, — аккуратными, плотными рядами в ней лежали трубочки макарон. А внизу в толстой ватной обертке я нашел три красных яблока.

Раньше я видел яблоки только на картинках, но догадался, что это они.

Вопросы и задания

1. Разберемся в прочитанном

1. В какое время происходят события рассказа? Что об этом времени пишет автор?
2. Почему мать мальчика все же «решилась отпустить» сына-пятиклассника в райцентр? Какие испытания ожидали мальчика на новом месте?
3. Как переживал герой рассказа разлуку с домом, семьей? Найдите в тексте слова, передающие его состояние.
4. Что заставило героя рассказа ввязаться в игру на деньги?
5. За что Вадик и Птаха избили мальчика? Почему он заплакал уже после того, как его избили, уйдя далеко от поляны? Найдите слова, передающие состояние героя рассказа в этот момент.

II. Поразмыслием над рассказом

1. Как вы считаете, случайно ли то, что Лидия Михайловна для отдельных занятий выбрала именно рассказчика? Ведь «в школе сколько угодно было ребят, которые говорили по-французски ничуть не лучше», чем он?

2. Как вы думаете, почему Лидия Михайловна решилась играть в «замеряшки» со своим учеником? Что выдавало ее во время игры? Она, ведь, искренне, от всей души хотела поддержать мальчика.

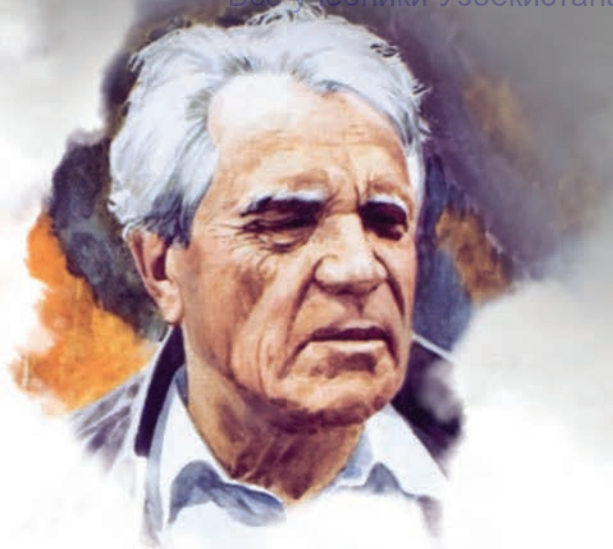
III. Сделаем выводы

1. Какой, по-вашему, смысл вкладывает автор в название своего рассказа? Какие жизненные уроки извлек рассказчик из этой истории? В чем состоит главная идея этого произведения? Постарайтесь сформулировать вашу мысль в одном-двух предложениях.

2. В чем, по-вашему, смысл слов писателя, вынесенных в начало рассказа: «Странно: почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, что было в школе, — нет, а за то, что случилось с нами после»?

IV. Для самостоятельной работы

Рассмотрите иллюстрации к рассказу. Какие эпизоды выбрал художник? Озаглавьте иллюстрации строками из текста. На что художник обращает внимание во внешнем облике изображаемых им героев? Какая иллюстрация вам больше понравилась, почему?



*Виктор
Петрович
Астафьев
(1924–2001)*

Виктор Петрович Астафьев родился в Сибири — в Красноярском крае.

Детство — труднее не придумаешь. Мальчику было семь лет, когда погибла его мать. Она утонула в Енисее. Побывав даже в беспризорниках, воспитывался в детдоме. Здесь добрые, умные учителя зажгли в нем огонек писательства. Одно его школьное сочинение признали лучшим. У этого сочинения очень характерное название — «Жив!» (позже события, описанные в нем, предстали в рассказе «Васюткино озеро», разумеется в новой форме, по-писательски).

Весной 1943 года семнадцатилетний рабочий Виктор Астафьев уже на фронте, на передовой, в самом пекле войны. Его дважды ранят, контузят. Словом, на войне, как на войне.

После войны много профессий сменил будущий писатель, метался, как он скажет, по разным работам, пока в 1951 году в газете «Чусовской рабочий» не был опубликован его первый рассказ, и стал он газетным, литературным сотрудником. Отсюда и начинается его собственно творческая биография.

...Много создано Виктором Астафьевым книг. В них писатель размышляет о судьбах родной земли, о добре и справедливости, о горестях и печалях, о жизни, согретой любовью и доверием. Хорошо известны читателям его рассказы

и повести «Перевал», «Стародуб», «Кража», «Звездопад», «Пастух и пастушка», «Царь-рыба».

Самой своей «сокровенной» книгой назвал Астафьев книгу о детстве «Последний поклон» (включающую в себя и рассказ «Конь с розовой гривой»). На страницах «Последнего поклона» оживают много интересных фигур — родственников, односельчан героя, его случайных и неслучайных попутчиков на жизненном пути. Но можно с уверенностью сказать, что центральный образ книги, к которому обращена неизменная любовь писателя, — это образ бабушки. Ей, Катерине Петровне, труженице, кормилице, хранительнице семьи, защитнице детства, в первую очередь шлет благодарный земной поклон автор книги.

КОНЬ С РОЗОВОЙ ГРИВОЙ

Бабушка возвратилась от соседей и сказала мне, что левонтьевские ребятишки собираются на увал¹ по землянику, и велела сходить с ними.

— Наберешь туесок². Я повезу свои ягоды в город, твои тоже продам и куплю тебе пряник.

— Конем, баба?

— Конем, конем.

Пряник конем! Это ж мечта всех деревенских малышей. Он белый-белый, этот конь. А грива у него розовая, хвост розовый, глаза розовые, копыта тоже розовые.

Бабушка никогда не позволяла таскаться с кусками хлеба. Ешь за столом, иначе будет худо. Но пряник — совсем другое дело. Пряник можно сунуть под рубаху, бегать и слышать, как конь лягает копытами в голый живот. Холодея от ужаса — потерял, — хвататься за рубаху и со счастьем убеждаться — тут он, тут конь-огонь!..

¹ *Увал* — пологий холм, имеющий значительную протяженность.

² *Туесок* — берестяная корзинка с тугой крышкой.

С таким конем сразу почету сколько, внимания! Ребята левонтьевские к тебе так и этак ластятся, и в чижа первому бить дают, и из рогатки стрельнуть, чтоб только им позволили потом откусить от коня, либо лизнуть его.

Когда даешь левонтьевскому Саньке или Таньке откусывать, надо держать пальцами то место, по которое откусить положено, и держать крепко, иначе Танька или Санька так цапнут, что останется от коня хвост да грива.

Левонтий, сосед наш, работал на бадобах¹ вместе с Мишкой Коршуковым. Левонтий заготавливал лес на бадоба, пилил его, колот и сдавал на известковый завод, что был супротив² села, по другую сторону Енисея.

Один раз в десять дней, а может, и в пятнадцать — я точно не помню, — Левонтий получал деньги, и тогда в соседнем доме, где были одни ребятишки и ничего больше, начинался пир горой.

Какая-то беспокойность, лихорадка, что ли, охватывала не только левонтьевский дом, но и всех соседей. Ранним еще утром к бабушке забегала тетка Васеня — жена дяди Левонтия, запыхавшаяся, загнанная, с зажатými в горсти рублями.

— Кума! — испуганно-радостным голосом восклицала она. — Долг-от я принесла! — И тут же кидалась прочь из избы, взметнув юбкою вихрь.

— Да стой ты, чумовая! — окликала ее бабушка. — Сосчитать ведь надо.

Тетка Васеня покорно возвращалась, и, пока бабушка считала деньги, она перебирала босыми ногами, ровно горячий конь, готовый рвануть, как только приотпустят вожжи.

Бабушка считала обстоятельно и долго, разглаживая каждый рубль. Сколько я помню, больше семи или десяти рублей из «запасу» на черный день бабушка никогда Левонтьи-

¹ Бадоба — длинные поленья.

² Супротив — напротив.

хе не давала, потому как весь этот «запас» состоял, кажется, из десятки. Но и при такой малой сумме заполошная¹ Васеня умудрялась обсчитаться на рубль, а когда и на целый трояк.

— Ты как же с деньгами-то обращаешься, чучело безглазое! — напускалась бабушка на соседку. — Мне рупь, другому рупь! Что же это получится?

Но Васеня опять взметывала юбкой вихрь и укатывалась.

— Передала ведь!

Бабушка еще долго поносила Левонтьиху, самого Левонтия, который, по ее убеждению, хлеба не стоил, а вино жрал, била себя руками по бедрам, плевалась, а я подсаживался к окну и с тоской глядел на соседский дом.

Стоял он сам собою, на просторе, и ничего-то ему не мешало смотреть на свет белый кое-как застекленными окнами — ни забор, ни ворота, ни наличники, ни ставни. <...>

Весною левонтьевское семейство ковыряло маленько землю вокруг дома, возводило изгородь из жердей, хворостин, старых досок. Но зимой все это постепенно исчезало в утробе русской печи, раскорячившейся посреди избы. <...>

Сам дядя Левонтий в теплые вечера выходил на улицу в штанах, державшихся на единственной медной пуговице с двумя орлами, в бязевой рубашке, вовсе без пуговиц. Садился на истюканный топором чурбак, изображавший крыльцо, курил, смотрел, и если моя бабушка корила его в окно за безделье, перечисляла работу, которую он должен был, по ее разумению, сделать в доме и вокруг дома, дядя Левонтий благодушно почесывался.

— Я, Петровна, слободу люблю! — и обводил рукою вокруг себя: — Хорошо! Как на море! Ништо глаз не угнетат!

Дядя Левонтий любил море, а я любил его. Главная цель моей жизни была прорваться в дом Левонтия после его по-

¹ Заполошная — суетливая.

лучки... <...> Улизнуть не так-то просто. Бабушка знает все мои повадки наперед.

— Нечего куски выглядывать! — гремела она. — Нечего этих пролетарьев объедать, у них самих в кармане — вошь на аркане.

Но если мне удавалось ушмыгнуть из дома и попасть к левонтьевским, тут уж все, тут уж я окружен бывал редкостным вниманием, тут мне полный праздник.

— Выдь отсюда! — строго приказывал пьяненький дядя Левонтий кому-нибудь из своих парнишек. И, пока кто-либо из них неохотно вылезал из-за стола, пояснял детям свое строгое действие уже обмякшим голосом: — Он сирота, а вы всешки¹ при родителях! — И, жалостно глянув на меня, взреывал: — Мать-то ты хоть помнишь ли? — Я утвердительно кивал. Дядя Левонтий горестно облокачивался на руку, кулачищем растирал по лицу слезы, вспоминая: — Бадogi с ней по один год коло-ли-и-и... <...>

Тетка Васеня, ребятишки дяди Левонтия и я вместе с ними ударялись в рев, и до того становилось жалостно в избе, и такая доброта охватывала людей, что все-все высыпалось и вываливалось на стол, и все наперебой угощали меня ... <...>

Вот с орлами-то дяди Левонтия и отправился я по землянику, чтобы трудом своим заработать пряник. Ребятишки несли бокалы с отбитыми краями, старые, наполовину изодранные на растопку, берестяные туюски, кринки, обвязанные по горлу бечевками, у кого ковшики без ручек были. Парнишки вольничали, боролись, бросали друг в друга посудой, ставили подножки, раза два принимались драться, плакали, дразнились. <...> Скоро мы пришли на каменистый увал. Тут все перестали баловаться, рассыпались по лесу и начали брать землянику, только-только еще поспевающую, белобокую, редкую и потому особенно радостную и дорогую.

¹ *Всешки* — все-таки.

Я брал старательно и скоро покрыл дно аккуратненького туюска стакана на два-три. Бабушка говорила: главное в ягодах — закрыть дно посуды. Вздыхнул я с облегчением и стал собирать землянику скорее, да и попадалось ее выше по увалу больше и больше.

Левонтьевские ребятишки сначала ходили тихо. Лишь позвякивала крышка, привязанная к медному чайнику. Чайник этот был у старшего парнишки, и побрякивал он, чтобы мы слышали, что старшой тут, поблизости, и бояться нам нечего и незачем.

Вдруг крышка чайника забренчала нервно, послышалась возня.

— Ешь, да? Ешь, да? А домой чё? А домой чё? — спрашивал старшой и давал кому-то пинка после каждого вопроса.

— А-га-га-гааа! — запела Танька. — Шанька шажрал, дак ничо-о-о...

Попало и Саньке. Он рассердился, бросил посудину и свалился в траву. Старшой брал, брал ягоды да и задумался: он для дома старается, а те вон, дармоеды, жрут ягоды либо вовсе на траве валяются. Подскочил старшой и пнул Саньку еще раз. Санька взвыл, кинулся на старшого. Зазвенел чайник, брызнули из него ягоды. Бьются братья богатырские, катаются по земле, всю землянику раздавили. После драки и у старшого опустились руки. Принялся он собирать просыпанные, давленные ягоды — и в рот их, в рот.

— Значит, вам можно, а мне, значит, нельзя? Вам можно, а мне, значит, нельзя? — зловеще спрашивал он, пока не съел все, что удалось собрать.

Вскоре братья Левонтьевы как-то незаметно помирились, перестали обзывать и решили спуститься к Фокинской речке, побрызгаться.

Мне тоже хотелось к речке, тоже бы побрызгаться, но я не решался уйти с увала, потому что еще не набрал полную посудину.

— Бабушки Петровны испугался! Эх ты! — закривлялся Санька и назвал меня поганым словом. Он много знал таких слов. Я тоже знал, научился говорить их у левонтьевских ребят, но боялся, может, стеснялся употреблять поганство и несмело заявил:

— Зато мне бабушка пряник конем купит!

— Может, кобылой? — усмехнулся Санька, плюнул себе под ноги и тут же что-то смекнул: — Скажи уж лучше — боишься ее и еще жадный!

— Я?

— Ты!

— Жадный?

— Жадный!

— А хочешь, все ягоды съем? — сказал я это и сразу покаялся, понял, что попался на уду. Исцарапанный, с шишками на голове от драк и разных других причин, с цыпками на руках и ногах, с красными окровавленными глазами, Санька был вреднее и злее всех левонтьевских ребят.

— Слабо! — сказал он.

— Мне слабо! — хорохорился я, искоса глядя на туесок. Там было ягод уже выше середины. — Мне слабо?! — повторял я гаснущим голосом и, чтобы не спасовать, не струсить, не опозориться, решительно вытряхнул ягоды на траву: — Вот! Ешьте вместе со мной!

Навалилась левонтьевская орда, ягоды вмиг исчезли. Мне досталось всего несколько малюсеньких, гнутых ягодок с прозеленью. Жалко ягод. Грустно. Тоска на сердце — предчувствует оно встречу с бабушкой, отчет и расчет. Но я напустил на себя отчаянность, махнул на все рукой — теперь уже все равно. Я мчался вместе с левонтьевскими ребятами под гору, к речке, и хвастался:

— Я еще у бабушки калач украду! <...>

Так интересно и весело мы провели весь день, и я со всем уже забыл про ягоды, но наступила пора возвращаться домой. Мы разобрали посуду, спрятанную под деревом.

— Задаст тебе Катерина Петровна! Задаст! — заржал Санька. — Ягоды-то мы съели! Ха-ха! Нарошно съели! Ха-ха! Нам-то ништяк! Ха-ха! А тебе-то хо-хо!..

Я и сам знал, что им-то, левонтьевским, «ха-ха!», а мне «хо-хо!» Бабушка моя, Катерина Петровна, не тетка Васеня, от нее враньем, слезами и разными отговорками не отделаешься. Тихо плелся я за левонтьевскими ребятами из лесу. Они бежали впереди меня гурьбой, гнали по дороге ковшик без ручки. Ковшик звякал, подпрыгивал на камнях, от него отскакивали остатки эмалировки.

— Знаешь чё? — поговорив с братанами, вернулся ко мне Санька. — Ты в туес травы натолкай, сверху ягод — и готово дело! Ой, дитятко мое! — принялся с точностью передразнивать мою бабушку Санька. — Пособил тебе воспо-одь, сиротинке, пособи-ил. — И подмигнул мне бес Санька, и помчался дальше, вниз с увала, домой.

А я остался.

Утихли голоса ребятни под увалом, за огородами, жутко сделалось. Правда, село здесь слышно, а все же тайга, пещера недалеко, в ней домовниха с домовым¹, змеи кишмя кишат.

Повздыхал я, повздыхал, чуть было не всплакнул, но надо было слушать лес, траву, домовые из пещеры не подбираются ли. Тут хныкать некогда. Тут ухо остро держи. Я рвал горстью траву, а сам озирался по сторонам. Набил травую туго туесок, на бычке, чтоб к свету ближе и дома видать, собрал несколько горсток ягодок, заложил ими траву — получилось земляники даже с копной.

— Дитятко ты мое! — запричитала бабушка, когда я, замирая от страха, передал ей посудину. — Воспо-одь тебе пособил, воспо-одь! Уж куплю я тебе пряник, самый больший. И пересыпать ягодки твои не стану к своим, прямо в этом туеске увезу...

¹ *Домовниха с домовым* — согласно поверью, невидимые существа, охраняющие какое-либо жильё.

Отлегло маленько.

Я думал, сейчас бабушка обнаружит мое мошенничество, даст мне что полагается, и уже приготовился к каре за содеянное злодейство. Но обошлось. Все обошлось. Бабушка унесла туесок в подвал, еще раз похвалила меня, дала есть, и я подумал, что бояться мне пока нечего и жизнь не так уж худа.

Я поел, отправился на улицу играть, и там дернуло меня сообщить обо всем Саньке.

— А я расскажу Петровне! А я расскажу!..

— Не надо, Санька!

— Принеси калач, тогда не расскажу.

Я пробрался тайком в кладовку, вынул из ларя калач и принес его Саньке под рубахой. Потом еще принес, потом еще, пока Санька не нажрался.

«Бабушку надул. Калачи украл! Что только будет?» — терзался я ночью, ворочаясь на полатах. Сон не брал меня... <...>

— Ты чего там елозишь? — хрипло спросила из темноты бабушка. — В речке небось опять бродил? Ноги опять болят?

— Не-е, — откликнулся я. — Сон приснился.

— Спи с богом! Спи, не бойся. Жизнь страшнее снов, батюшко...

«А что, если слезть с полатей, забраться к бабушке под одеяло и все-все рассказать?»

Я прислушался. Снизу доносилось трудное дыхание старого человека. Жалко будить, устала бабушка. Ей рано вставать. Нет уж, лучше я не буду спать до утра, скараулю бабушку, расскажу обо всем: и про туесок, и про домовнику с домовым, и про калачи, и про все, про все...

От этого решения мне стало легче, и я не заметил, как закрылись глаза. Возникла Санькина немытая рожа, потом замелькал лес, трава, земляника, завалила она и Саньку, и все, что виделось мне днем.

На полатях запахло сосняком, холодной таинственной пещерой, речка прожурчала у самой головы и смолкла...

Дедушка был на заимке¹, километрах в пяти от села, в устье реки Маны. Там у нас посеяна полоска ржи, полоска овса и гречи да большой загон посажен картошек.

<...> У дедушки на заимке я любил бывать. Спокойно у него там, обстоятельно никакого утеснения и надзора, бегай хоть до самой ночи. Дедушка никогда и ни на кого не шумел, работал неторопливо, но очень уемисто и податливо.

Ах, если бы заимка была ближе! Я бы ушел, скрылся. Но пять километров для меня были тогда непреодолимым расстоянием. И Алешки, моего братана, нет, чтоб с ним вместе умотать. Недавно приезжала тетка Августа и забрала Алешку с собой на лесоучасток, куда она поступила работать.

Слонялся я, слонялся по пустой избе и ничего другого не мог придумать, как податься к левонтьевским.

— Идет!

Я помчался домой, схватил удочки, хлеба в карман сунул, и мы подались к каменным бычкам, за поскотину², спускавшуюся прямо в Енисей за логом.

Мальчик отправился с соседом Санькой на рыбалку, лишь бы протянуть время и не встречаться с бабушкой.

Я свалился с яра³, переполошив береговушек в дырках, и рванул удочку. Попался окунь. Потом ерш. Подошла рыба, начался клев. Мы наживляли червяков, закидывали. <...>

Вдруг за ближним каменным бычком защелкали по дну кованые шесты, из-за мыса показалась лодка. Трое мужиков разом выбрасывали из воды шесты. <...> Взмах шестов, перекидка рук, толчок — лодка вспрыгнула носом, ходко по-

¹ *Заимка* — земельный участок вдаль от села, освоенный (вспаханный) его владельцем.

² *Поскотина* — пастбище, выгон.

³ *Яр* — крутой край оврага.

далась вперед. Она ближе, ближе. Вот уж кормовой дакнул шестом, и лодка кивнула в сторону от наших удочек. И тут я увидел сидящего на беседке еще одного человека. Полушалок на голове, концы его пропущены под мышки и крест-накрест завязаны на спине. Под полушалком крашенная в бордовый цвет кофта. Вынималась эта кофта из сундука по большим праздникам и по случаю поездки в город.

Да это ж бабушка!

Я рванул от удочек к яру, подпрыгнул, ухватился за траву, засунув большой палец ноги в норку. Подлетела береговушка, тюкнула меня по голове, я с перепугу опал на комья глины, подскочил и побежал по берегу, прочь от лодки.

— Ты куда? Стой! Стой, говорю! — кричала бабушка. Я мчался во весь дух.

— Я-а-авишша, я-авишша домой, мошенник!

Мужики поддали жару.

— Держи его! — крикнули из лодки, и я не заметил, как оказался на верхнем конце села... <...> Я долго отдыхивался и скоро обнаружил — подступает вечер — волей-неволей надо возвращаться домой. Но я не хотел домой и на всякий случай подался к двоюродному братишке Кеше, дяди Ваниному сыну, жившему здесь, на верхнем краю села.

Мне повезло. Возле дяди Ваниного дома играли в лапту. Я ввязался в игру и пробежал до темноты. Появилась тебя Феня, Кешкина мать, и спросила меня:

— Ты почему домой не идешь? Бабушка потеряет тебя.

— Не-е, — ответил я как можно беспечнее. — Она в город уплыла. Может, ночует там.

Тетя Феня предложила мне поесть, и я с радостью смолотил все, что она мне дала, а тонкошей Кеша попил вареного молока, и мать ему сказала с укором:

— Все на молочке да на молочке. Гляди вон, как ест парнишка, оттого и крепок, как гриб боровик. — Мне поглянулась тети Фенина похвала, и я уже тихо надеяться стал, что она меня и ночевать оставит.

Но тетя Феня порасспрашивала, порасспрашивала меня обо всем, после чего взяла за руку и отвела домой.

В нашей избе уже не было свету. Тетя Феня постучала в окно. «Не заперто!» — крикнула бабушка. Мы вошли в темный и тихий дом, где только и слышалось многокрылое постукивание бабочек да жужжание бьющихся о стекло мух.

Тетя Феня оттеснила меня в сени, втолкнула в пристроенную к сениям кладовку. Там была налажена постель из половиков и старого седла в головах — на случай, если днем кого-то сморит жара и ему захочется отдохнуть в холодке.

Я зарылся в половик, притих, слушая.

Тетя Феня и бабушка о чем-то разговаривали в избе, но о чем — не разобрать. В кладовке пахло отрубями, пылью и сухой травой, натканной во все щели и под потолком. Трава эта все чего-то пощелкивала да потрескивала. Тоскливо было в кладовке. Темень была густа, шероховата, заполненная запахами и тайной жизнью. Под полом одиноко и робко скреблась мышь, голодающая из-за кота. И все потрескивали сухие травы да цветы под потолком, открывали коробочки, сорили во тьму семечки, два или три запутались в моих волосах, но я их не вытаскивал, страхась шевельнуться. <...>

Ушла тетя Феня, плотно прикрыла дверь в сенках. Воровато прошмыгнул по крыльцу кот. Под полом стихла мышь. Стало совсем темно и одиноко. В избе не скрипели половицы, не ходила бабушка. Устала. Не ближний путь в город-то! Восемнадцать верст, да с котомкой. Мне казалось, что если я буду жалеть бабушку, думать про нее хорошо, она об этом догадается и все мне простит. Придет и простит. Ну разок и щелкнет, так что за беда! За такое дело и не разок можно...

Однако бабушка не приходила. Мне сделалось холодно. Я свернулся калачиком и дышал себе на грудь.

Проснулся я от солнечного луча, проснувшегося в мутное

окошко кладовки и ткнувшегося мне в глаза. В луче мошкой мельтешила пыль. Откуда-то наносило заимкой, пашнею. Я огляделся, и сердце мое радостно подпрыгнуло: на меня был накинут дедушкин старенький полушубок. Дедушка приехал ночью. Красота!

На кухне бабушка кому-то обстоятельно рассказывала:

— ...Культурная дамочка, в шляпке. «Я эти вот ягоды все куплю». Пожалуйста, милости прошу. Ягодки-то, говорю, сиротинка горемышный собирал...

Тут я провалился сквозь землю вместе с бабушкой и уже не мог и не желал разбирать, что говорила она дальше, потому что закрылся полушубком, забился в него, чтобы скорее помереть. Но сделалось жарко, глухо, стало нечем дышать, и я открылся.

— ...Своих вечно потачил! — гремела бабушка. — Теперь этого! А он уж мошенничат! Чё потом из него будет? Жиган будет! Вечный арестант! Я вот еще левонтьевских, пятнай их, в оборот возьму! Это ихняя грамота!..

Убрался дед во двор, от греха подальше, чего-то тюкает под навесом. Бабушка долго одна не может, ей надо кому-то рассказывать о происшествии либо разносить вдребезги мошенника, стало быть, меня, и она тихонько прошла по сеням, приоткрыла дверь в кладовку. Я едва успел крепко-накрепко сомкнуть глаза.

— Не спишь ведь, не спишь! Все-о вижу!

Но я не сдавался. Забежала в дом бабушкина племянница, спросила, как «тета» сплавала в город. Бабушка сказала, что «сплавала, слава тебе господи, ягоденки продала сходно», и тут же принялась повествовать:

— Мой-то! Малой-то! Чего утворил!.. Послушай-ко, послушай-ко, девка!

В это утро к нам приходило много людей, и всех бабушка задерживала, чтоб поведать: «А мой-то! Малой-то!» И это ей нисколько не мешало исполнять домашние дела — она носилась взад-вперед, доила корову, выгоняла ее к пастуху,

вытряхивала половики, делала разные свои дела и всякий раз, пробегая мимо дверей кладовки, не забывала напомнить:

— Не спишь ведь, не спишь! Я все-о вижу!

Но я твердо верил: управится по дому и уйдет. Не вытерпит, чтобы не поделиться новостями, почерпнутыми в городе, и узнать те новости, которые свершились без нее на селе. И каждому встречному и поперечному бабушка с большой охотой будет твердить: «А мой-то! Малой-то!»

В кладовку завернул дедушка, вытянул из-под меня кожаные вожжи и подмигнул: «Ничего, дескать, терпи и не робей!», да еще и по голове меня погладил. Я заширкал носом, и так долго копившиеся слезы хлынули из моих глаз, и не было им никакого удержу.

— Ну, што ты, што ты? — успокаивал меня дед, обирая большой рукой слезы с моего лица. — Чево голодной-то лежишь? Попроси прощенья... Ступай, ступай, — легонько подтолкнул меня дед в спину.

Придерживая одной рукой штаны, прижав другую локтем к глазам, я ступил в избу и завел:

— Я больше... Я больше... Я больше... — и ничего не мог дальше сказать.

— Ладно уж, умывайся да садись трескать! — все еще непримиримо, но уже без грозы, без громов оборвала меня бабушка.

Я покорно умылся, долго возил по лицу сырым рукотерником и вспомнил, что ленивые люди, по заверению бабушки, всегда сырым утираются, потому что всех позднее встают. Надо было двигаться к столу, садиться, глядеть на людей. Ах, ты, господи! Да чтобы я еще хоть раз сплутовал! Да я...

Содрогаясь от все еще не прошедших всхлипов, я прилепился к столу. Дед возился на кухне, сматывал на руку старую, совсем, понимал я, ненужную ему веревку, чего-то доставал с полатей, вынул из-под курятника топор, попробовал пальцем острие. Он ищет и находит заделье, чтоб

только не оставлять горемычного внука один на один с «генералом», так он в сердцах или в насмешку называет бабушку.

Чувствуя незримую, но надежную поддержку деда, я взял со стола краюху¹ и стал есть ее всухомятку. Бабушка одним махом плеснула молока, со стуком поставила посудину передо мной и подбоченилась — села рядом:

— Брюхо болит, на краюху глядит! Эшь ведь какой смирененькай! Эшь ведь какой тихонькай! И молочка не попросит!..

Дед мне подморгнул — терпи. Я и без него знал: боже упаси сейчас перечить бабушке, сделать чего не по ее усмотрению. Она должна разрядиться и должна высказать все,



¹ Краюха — маленький кусочек хлеба.

что у нее на сердце накопилось, душу отвести и успокоить должна.

И срамила же меня бабушка! И обличала же! Только теперь, поняв до конца, в какую бездонную пропасть ввергло меня плутовство и на какую «кривую дорожку» оно меня еще уведет, коли я так рано взялся воровать, коли за лихим людом потянулся на разбой, я уж заревел не просто раскаяваясь, а испугавшись, что пропал, что ни прощенья, ни возврата нету...

Даже дед не выдержал бабушкиных речей и моего полного раскаянья. Ушел. Ушел, скрылся, задымив сигаркой, дескать, мне тут ни помочь, ни совладать, бог пособляй тебе, внучек...

Бабушка устала, выдохлась, а может, и почуяла, что уж того она, лишковато все ж меня громила.

Было покойно в избе, однако все еще тяжело. Не зная, что делать, как дальше жить, я разглаживал заплатку на штанах, вытягивал из нее нитки. А когда поднял голову, увидел перед собой...

Я зажмурился и снова открыл глаза. Еще раз зажмурился, еще раз открыл. По скобленому кухонному столу, будто по огромной земле, с пашнями, лугами и дорогами, на розовых копытцах, скакал белый конь с розовой гривой.

— Бери, бери, чё смотришь? Глядишь, зато еще когда обманешь баушку...

Сколько лет с тех пор прошло! Сколько событий минуло. Нет в живых дедушки, нет и бабушки, да и моя жизнь клонится к закату, а я все не могу забыть бабушкиного пряника — того дивного коня с розовой гривой.

Вопросы и задания

I. Разберемся в прочитанном

1. Где и в какое время происходят события, описанные в рассказе?

2. От чьего имени ведется повествование в рассказе?
3. Что вы можете сказать о семье Левонтия? Чем она отличалась от других семей?
4. Как герой рассказа был втянут в обман? Как он решил исправить положение? Что помешало ему это сделать? Что произошло потом?

II. Поразмышляем над рассказом

1. Почему героя рассказа неудержимо тянуло к Левонтию? Что особенно привлекало его в этой семье?
2. Как провели день ребята, отправившись за ягодами? Расскажите об этом дне.
3. Читая рассказ, вы, наверное, обратили внимание на то, что автор в речи героев сохраняет «краски» народной русской речи. С какой целью делает это писатель?

III. Сделаем выводы

1. Как вы думаете, почему бабушка, несмотря на обман внука, купила ему «пряник конем»?
2. Какие жизненные уроки извлек герой рассказа? Как с этим связаны заключительные слова рассказа: «Сколько лет с тех пор прошло! Сколько событий минуло. Нет в живых дедушки, нет и бабушки, да и моя жизнь клонится к закату, а я все не могу забыть бабушкиного пряника — того дивного коня с розовой гривой»?

Гафур Гулям
(1903–1966)



Он возвеличил своим песенным талантом узбекскую поэзию и дела узбекского народа.

Н. Тихонов

Произведения народного поэта Узбекистана пользуются признанием миллионов читателей.

Крупнейший поэт, прозаик, публицист, выдающийся ученый — таким живет Гафур Гулям в сознании каждого, кто знаком с творчеством писателя.

Гафур Гулям прошел нелегкий трудовой путь, сменил в свои юные годы множество профессий и поэтому знал о жизни своих современников не из книг.

Особое место в творческом наследии Гафура Гуляма занимают произведения для детей. Особенно любима читателями повесть «Озорник».

Рассказывая о скитаниях своего юного героя, Гафур Гулям говорит о себе, о годах собственного детства, о том, как бродил он по пыльным дорогам под раскаленным солнцем, как ночевал под открытым небом, как жадно хватался за любое дело, которое могло хоть как-то прокормить его.

Очень точно описываются в повести картины жизни Ташкента и его пригородов. (Детство Гафура проходило в махалле Кургантаги. В этом же районе живет и герой «Озорника»).

Сам писатель так определяет основную тему своего произведения: «Много разных приключений, веселых и грустных, пришлось пережить герою этой книги. А все-таки «с носом» остались те, кто сами хотели дурачить и одурачивать других.

Вот так-то!»

ОЗОРНИК

(Главы в сокращении)

ДЕТИ СТАРОЙ МАХАЛЛИ

Народу в торговых рядах уйма.

В большой чайхане Ильхама-чайханщика, что стоит как раз на повороте молочного ряда к махалле Махкама, играет граммофон, без умолку звучат старинные песни в исполнении Туйчи-хафиза, Хамракула-коры или ферганских певиц. Места в чайхане всегда не хватает. Тут проводят свободное время байские сыновья из торговых рядов. Они собираются вокруг дастархана, посреди которого на большом медном подносе разложены сахар, миндаль, фисташки, разные сладости, стоит в посуде варенье, а зачастую красуется и коньяк в соломенных плетенках с изображением ласточки. Усаживаясь, они весело горланят, рассказывают анекдоты. Дехканам, бедным кустарям, казахам, киргизам, приехавшим на базар издалека, нечего сюда и соваться.

Чайханщик — худощавый парень по прозвищу Асра-лысый, в легком халате нараспашку, подпоясанном голубым шелковым платком, услужливо носится среди посетителей. Стоит кому-нибудь из гостей крикнуть «Асра!» или «Лысый!» — он тут как тут:

— Что угодно, мулла-ака, чай или чилим?

Много удивительных вещей можно увидеть в этой чайхане. Но, конечно, самое замечательное в ней — это подвешенная к потолку у входа большая клетка, позолоченная, украшенная амулетами от дурного глаза и пестрыми флажками.

В клетке живет попугай, ей-богу, настоящий, живой попугай! Перья его переливаются всеми цветами радуги: синий, красный, голубой, желтый, белый, розовый, коричневый, темно-вишневый, фисташковый — все цвета, какие только есть на свете! Но главное, он разговаривает!

Мы, мальчишки, бродим по базару чумазой босоногой стаей; мы снуем всюду, но ко входу в чайхану нас тянет неизменно:

— Попка, эй, попка!

Впрочем, главным нашим развлечением на базаре служат джинни — юродивые. Сколько их в Ташкенте — и-и! Начнешь считать — собьешься!

Мы знали все истории этих несчастных — слышали от взрослых, сколько раз все это при нас пересказывалось! Но у мальчишек нет времени для жалости. С джинни можно было устроить представление — лучше не надо! Иногда мы уговаривали их спеть или сплясать, но чаще просто безжалостно дразнили...

Так, в развлечениях, проводили мы дни и едва замечали, как наступает вечер. Забежав домой сразу после третьей молитвы, что перед заходом солнца, мы наскоро хлебаем мучную похлебку или какое-нибудь варево из маша — с тыквой или рисом, или суп с лапшой, — и снова убегаем на улицу, над которой понемногу высыпают добрые летние звезды. Самое время для игры в прятки...

Впрочем, у нас множество и других игр: борьба, «батман-батман»: играющие стоят спиной друг к другу, сцепятся руками и поочередно поднимают напарников себе на спину; или еще игра в «белый тополь, зеленый тополь» — мальчишки разбиваются на две группы, каждая выбирает вожака, загадывает кого-нибудь, а противоположная сторона должна угадать — кого? Отгадавшие садятся на спины противников и едут до условленного места...

...Времени у нас хватает, в школе задерживают нас ненадолго, а дел... Какие у нас могут быть дела! Наши родите-

ли и себе-то не могут найти работу, где уж там пристроить мальчишек!

Махаллю вроде нашей населяют обычно мелкие ремесленники — кожевенники, веревочники, мастера, которые чинят фарфоровую или стеклянную посуду, водоносы, носильщики, конюхи, сторожа, мелкие служители окрестных мечетей. Правда, в нашей махалле жили, главным образом, рабочие типографии и кондитерской. Но все же, кого тут только не было! Все это родители моих товарищей, я их помню отлично.

Вопросы и задания

I. Выделите в прочитанном тексте смысловые отрывки и назовите их строками текста или своими словами.

О б р а з е ц:

1. «В большой чайхане, что стоит на повороте».
2. «Много удивительных вещей можно увидеть в этой чайхане».
3. «У мальчишек нет времени для жалости».
4. «У нас множество и других игр».
5. «Кого тут только не было!»

Запишите план и по плану перескажите содержание главы.

II. Побеседуйте по вопросам:

1. Как мальчишки махалли проводили свой день?
2. Что особенно запомнилось герою повести из его детских развлечений?
3. В тексте вы встретились с описанием игр, в которые играли мальчишки старой махалли. Какие из этих игр дошли до нашего времени?
4. Перечислите названия ремесел, которыми занимались жители махалли. Подумайте, как жили эти люди. Какие еще описания из текста можно привести в доказательство того, что ребята из махалли и их родители жили небогато?

КАК Я РАЗОРИЛ БАЯ

Как-то мальчик рассорился с матерью и убежал из дому. Беглец попадал к разным людям, придумывал про себя всевозможные истории, которым люди верили, и нигде долго не задерживался.

...Кишлак я постарался обойти стороной. На закате я вышел к большой реке. Что это за река, я не знал, где безопасная переправа — тем более. Я стал ждать, пока кто-нибудь появится на дороге...

Я почувствовал жажду, встал на колени и выпил несколько пригоршней сладкой речной воды, такой холодной, что зубы заломило. Поднимаясь, я увидел старого дехканина на тощей лошади, подъезжавшего к реке. Я побежал ему навстречу, схватил за полу халата и стал умолять, чтоб он и меня переправил.

Услышав, что я бездомный заблудившийся сирота без роду и племени, что мне негде приклонить голову и получить кусочек сухой лепешки, старик дал мне несколько советов. В кишлаке, сказал он, есть волостной управитель — важный бай по имени Сарыбай-булыс. В его огромном яблоневом саду всегда требуются рабочие руки, особенно сейчас, когда яблоки поспевают. Бай, конечно, не откажет мне в работе — ведь я наймусь за дешевую плату! А переночевать, продолжал старик, можно уже сегодня вместе с батраками, он сам укажет мне дорогу...

В бараке, куда старый виноградарь меня привел, оказалось человек двадцать батраков — все старики или очень пожилые люди. Я обратился к ним с приветствием, как положено, и они радушно меня приняли. Когда я сказал, что хотел бы наняться на работу к Сарыбаю, один из них сказал:

— Э, сынок, что тебе здесь делать? Ты еще молод, а жизнь дорогая штука, пропадет она у тебя тут зря. Поучись ремеслу походяней¹, пока есть время... — И так как на

¹ *Ремесло походяней* — дело, за которое можно получить больше денег.

лице у меня, видно, отразилось уныние, он добавил добродушно: — Ну, ничего, дней десять-двенадцать поработаешь, поправишь свои дела, а там видно будет...

Он налил мне в глиняную чашку половник похлебки и сунул два куса лепешки. Я съел все это с великим аппетитом.

Потом мне показали место для ночлега, и я соорудил кровать из двух ящиков для яблок, да еще подушку — из кучи стружек. Ложе оказалось превосходным, а сон — прямо царским.

Вопросы и задания

1. Прочтите текст про себя.
2. Ответьте на вопросы:
 - а) Почему дехканин согласился помочь мальчику?
 - б) Как встретили мальчика батраки?
 - в) Что они ему посоветовали?
3. Объясните, как вы понимаете выражение: «Жизнь — дорогая штука». Что хотел сказать этими словами один из батраков мальчику?
4. Подберите синонимы к словам: жажда, умолять, приклонить (голову), радушно, превосходный. Составьте с ними предложения. Некоторые из них запишите.

Утром я пошел к баю. Он поломался немного для виду, сказал, что яблоки — это не кирпичи, надо уметь с ними обращаться, потом изрядно поторговался и, наконец, согласился нанять меня за два пуда¹ и семь фунтов² в месяц. Но яблоки, добавил он, будут всякие, и спелые и неспелые! Тут и слепой бы увидел, что он собирается меня обжулить, как котенка, и я разозлился, хотя виду не подал. Терять мне нечего, поставлю и я ему одно условие, подумал я, и сказал:

¹ Пуд — мера веса, равная 16 кг.

² Фунт — мера веса, равная 400 г.

— Бай-бува, мы с вами уже сторговались, но совесть не позволяет мне умолчать об одном своем недостатке... Правда, у меня только один изъян, но...

— Ну, ладно, ладно, выкладывай, какой у тебя там изъян?

— У меня, знаете, такая болезнь с детства, что я нет-нет, а время от времени должен соврать, хоть и помимо воли. Лишь бы вы меня потом не ругали, бай-бува. А плата будет, как вы говорите!

— Ох, и нечистое отродье! Хитер ты, парень, — ну ладно, ступай работай, только ври не слишком часто!..

Вот я и в батраках у бая. Работа у меня не слишком трудная: ставлю подпорки¹ к яблоням, собираю и сушу падалицу², а иногда, когда срочно требуются хозяину деньги, грузу недозрелые яблоки на арбу — и везу их на продажу в Дарбазу или Сарыагач. Стерегу сад...

Все это бы ничего, если бы не окающий характер самого хозяина. Такого злобного зануду я не встречал ни до, ни после! Прав был старый батрак, не советовавший мне сюда наниматься. Если вы подойдете к Сарыбаю по какому-нибудь делу, будьте заранее уверены, что легко не отделаетесь. У него есть привычка после каждого пустяка задавать один и тот же вопрос: «А что дальше?» Скажем, вы приходите к нему и говорите: «Кандиль поспел». Кажется, ясно? Но он спрашивает: «А что дальше?» Вы, конечно, говорите: «Надо его собирать». Тут он снова выкладывает свой проклятый богом вопросик: «А что дальше?» Ну, вы говорите: «Продать надо». Все, точка? Так нет же, он не может остановиться. «А что дальше?» — говорит он. И если вы не найдете, что ответить, вас ждет самая настоящая взбучка.

¹ *Подпорки* — шест (палка) для поддерживания веток с яблоками.

² *Падалица* — плоды, которые упали на землю.

Вопросы и задания

1. Ответьте на вопросы:

- а) На каких условиях мальчик согласился работать у бая?
- б) О каком своем недостатке он предупредил бая?
- в) В чем состояли обязанности героя повести?

2. Выразительно прочтите отрывок, в котором раскрывается характер бая. Передайте насмешливые интонации героя. Какое чувство вызывает у вас описание привычек бая?

3. Отметьте в данном отрывке строки, которые показывают наблюдательность и остроумие мальчика.

Однажды Сарыбай уехал на несколько дней. В это время яблочки стали поспевать и падать, а без хозяйского приказа никто не решался начать сбор. Кончился корм для скота. Нужно было срочно ехать кому-то к баю. По жребию выпало ехать мне.

Когда я приехал, бай сидел в своей любимой беседке и завтракал вареной бараньей головой.

— Ну!? — спросил он. — Чего приехал?

— Просто так, бай-ата. Мы все соскучились по вас, послали меня вас навестить...

— Хорошо, хорошо, молодцы, но не зря ж тебя, наверно, послали, а по делу, говори, что там дальше?

Я понурил голову и сказал:

— Это самое... Ваш нож с ручкой из слоновой кости сломался, вот я и приехал об этом сказать...

— Ну, а что дальше, как это он сломался? Что вы им, проклятые, резали, другие ножи, что ли, в хозяйстве перевелись?

— Да мы с вашей борзой шкуру снимали, нож напоролся на кость, вот и сломался.

— Что?! — сказал бай. — Как это сдирали шкуру с борзой? Ножом со слоновой... Тьфу! Почему шкуру сдирали?

— Ну, мы спешили, бай-ата, спешили содрать шкуру, как только борзая сдохла, а то шкура пропадет, вот и некогда было другой нож искать!

— Чтоб вам всем пропасть, да отчего она сдохла?

— Мяса дохлой лошади объелась.

— А кто ей дал мяса дохлой лошади, откуда еще дохлая лошадь взялась?

— Никто не давал, бай-ата, она сама накинута. Лошадь-то была ваша, гнедая с белой отметиной на лбу...

Бай совсем опешил.

— Эй, эй, парень, ты сначала подумай, потом говори... Как ты сказал, околеда гнедая с белой отметиной на лбу? Спаси, Аллах, отчего же это она околеть могла?

— Оттого, что негодной оказалась.

— К чему негодной? Что ты мелешь?

— Ничего я не мелю, оказалась она негодной воду возить. Ее, оказывается, никогда не запрягали, а тут запрягли, она повозила воду, надорвалась, да и околеда.

— Ах ты, подлец, что ты чепуху порешь? — закричал бай, вскакивая с места. — Там столько лошадей, кто это додумался возить воду на единственной лошади, которую я откармливал для улака¹! Говори, проклятый!

— Да ведь когда пожар начинается, бай-ата, кто же думает для чего лошадь предназначена? Запрягли первую попавшуюся, хоть ведро воды привезти!

Бай сидел, уставясь на меня вытаращенными глазами и не произнося ни слова. Он ненадолго потерял дар речи. Наконец, его снова прорвало.

— Ты... ты что, с ума спятил? Что значит — вспыхнул пожар? Где пожар? Отчего вспыхнул?

— Пожар сначала в конюшне вспыхнул. Бедные лошади все сгорели.

— О...от...откуда пожар в конюшне?

— Не знаю... По-моему — остальные тоже так думают — пожар в конюшне со склада перекинулся.

— О, Аллах, что за напасти на меня! Ведь на складе ничего не было такого, чтобы огонь загорелся!

¹ Улак — конные соревнования.

— Да вы погодите, хозяин, дайте до конца договорить. На склад огонь с усадьбы¹ перекинулся. А уже в конюшню со склада.

— Значит, и усадьба сгорела?!

— Сгорела усадьба, и склад сгорел, и конюшня, и лошади погибли, и гнедая пала, и борзая сдохла, и нож сломался...

— О-о-о, горе мне, а я-то сижу и ничего не зна-аю! О-о-о... Ну, а отчего в усадьбе загорелось? А?

— От свечи, хозяин, загорелось, от свечи...

— От какой свечи, совсем ты рехнулся, что ли? Разве в моем доме зажигают свечи?! А куда девалось столько ламп, которые я привез из Ташкента, а?

— Смотрю я, хозяин, совсем вы человеку слова не даете сказать! Где же это видно, чтобы над покойником зажигали керосиновую лампу.

Тут он так и присел. Видно, он совсем ошалел от моей брехни... А я тем временем продолжал:

— Разве вы не знаете, хозяин, над покойником огонек должен гореть, чтобы ночная бабочка прилетела — в кого же иначе дух покойника войдет?

Бай махнул рукой, чтобы я замолчал и еле выговорил:

— Кто... кто умер?

Тут я закрыл лицо руками, заплакал в голос и проговорил:

— Ваш младшенький... вай-буй!.. Бури-байвача... О-о-ой... залез на тополь... вай-вай... хотел птенчика достать... а-а-а... у...упал с дерева и-и-и... умер, только крикнул один раз «папа!»

Я не знаю, дослушал ли меня бай до конца — только он ударил себя по голове пиалой, пиала разбилась. Он рвал свою бороду и громко плакал. Я рыдал вместе с ним. Наконец мы оба затихли...

¹ Усадьба — дом с прилегающими постройками.

Я решил, что немножко переборщил, и надо сочинить что-нибудь утешительное.

— Ой, хозяин, — сказал я с радостным лицом, — пусть Аллах одарит вас с избытком... Бай-ата, я принес вам и одну приятную весть, которая утешит вас во всех горестях.

Издав глухой звук, он спросил:

— Ну, пропади она пропадом, твоя приятная весть, что ты там еще принес, проклятый, говори!

— Ваша средняя дочь Адаль-опа родила такого сына, что он стоит любого богатства!

— Что-о? — сказал бай. Глаза у него полезли из орбит. — Какая Адаль-апа? Моя дочь еще не замужем!

Я пожал плечами.

— Мы все тоже очень удивились. Но Аллах, если захочет, может одарить и незамужнюю. А мальчик-то, бай-ата, какой мальчик этот ваш внук! — Я выдержал паузу и добавил скромно: — Знаете Бадала, вашего арбакеша? Вылитый он...

Этого бай не вынес: он без сознания повалился на курпачу. Я не стал терять времени и тут же уехал...

Можете мне поверить, в тот день я сделал все возможное, чтобы меня не нашли — хотя искали меня усердно. Но на следующее утро я попался. Первым делом я получил свои двадцать ударов плетью. Потом бай спросил, кривя рот:

— Ты, собачье отродье, это что за проделки?

На этот раз я всхлипывал уже непритворно, мне было больно.

— Мы с вами с самого начала договорились, бай-ата (всхлип), что я иногда (всхлип) неправду говорю: это у меня (всхлип) с детства ...

— Ну и что, кончилось на этом твое вранье?

— Ой, нет, бай-ата, не кончилось...

Меня развязали и погнали было со двора, но я потребовал расчета. Я проработал у бая месяц и девять дней... Мне насыпали пуда два червивых яблок... Ну, я и этим был

доволен. Кое-как взвалив на плечи мешок, я снова отправился в путь...

Вопросы и задания

I. Разберемся в прочитанном

1. Прочтите отрывок из рассказа.
2. Перечислите, какие «несчастья» придумал для бая озорной паренек: сломался нож, сдохла собака,...
3. В конце разговора мальчик решил порадовать бая. Какую «приятную» новость он ему сообщил?
4. Понаблюдайте за поведением бая во время разговора. Запишите несколько предложений, в которых показано, как он реагировал на сообщения мальчика. О б р а з е ц: «Бай совсем ошалел», «Бай сидел, уставившись на меня вытаращенными глазами»...
5. Побеседуйте по вопросам:
 - а) Для чего Озорник решил сочинить несчастные случаи в усадьбе бая?
 - б) Удалось ли ему достичь своей цели?
 - в) Почему бай верил всему, что рассказывает мальчик?
 - г) Знал ли Озорник о том, чем закончатся все его проделки?
6. Прочтите заключительный отрывок по ролям. Передайте растерянность и страх бая, его грубость по отношению к мальчику.

В роли Озорника постарайтесь выразить интонации насмешливости, притворного сочувствия, скрытой радости и торжества.

II. Поразмышляем над рассказом

Инсценируйте отрывок из последней части.

1. Побеседуйте о том, что вы знаете о других приключениях Озорника из книги Г. Гуляма.
2. По выражению самого писателя: «Озорник смотрит на мир сквозь хитрые стеклышки смеха!» Как вы можете объяснить это выражение?
3. Подумайте, что роднит легендарного Насреддина — любимого героя узбекского фольклора и гулямовского Озорника?

III. Развитие речи

1. Напишите небольшое сочинение на тему «Никогда не унывать!», «Приключения Озорника».

2. Расскажите о том, как в Узбекистане чтят память о народном поэте Гафуре Гуляме.

ДИАЛОГ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

Диалог — разговор двух или нескольких лиц. Диалог в литературе выявляет определенную сторону характеров и взаимоотношений действующих лиц.

Так, герой повести «Озорник» постоянно вступает в беседы, разговоры с людьми, которые ему встречаются во время скитаний. И в ходе этих разговоров раскрывается веселый и неунывающий характер мальчика, его умение быстро ответить на вопросы, находчивость, остроумие.

Особенно ярко проявились эти качества в разговоре с баем, когда Озорник придумывал все новые и новые несчастья, якобы свалившиеся на голову бая, а бай не успевал даже их осмыслить.

Благодаря этому и другим диалогам в произведении читатель очень ярко представил себе живого и сообразительного мальчишку и глуповатого и грубого бая.

Таким образом, диалог в художественном произведении, как и другие средства изображения, помогает писателю создать яркие и живые картины и характеры.

Вопросы и задания

1. Подумайте, чем отличается диалог в повседневной жизни от диалога в художественном произведении.

2. Вспомните, в каких произведениях вы встречались с яркими, интересными диалогами.



*Хамид
Алимджан
(1909–1944)*

Хамид Алимджан — замечательный представитель узбекской поэтической классики XX столетия. Он родился в 1909 г. в Джизаке. С раннего детства, от матери своей Камилы и деда Мулло Азима, слышал он множество народных сказок, дастанов и песен. Впоследствии он вновь сознательно обратился к фольклору — и как собиратель, и как исследователь.

В 1918 году он поступил в открывающуюся в Джизаке неполную среднюю школу, затем поехал учиться в Самарканд, сначала в училище, а позже в университет.

В 1928 году вышел первый сборник стихов Х. Алимджана «Весна». Поэту еще не исполнилось и двадцати. Много лет спустя Айбек в своей статье о Хамиде Алимджане подчеркивал символичность этого названия. В самом деле, «Весна» вышла, когда автор переживал свою «весеннюю» пору. Ей соответствовал настрой сборника: оптимистический, романтически приподнятый.

Окончание учебы в Самарканде и переезд в Ташкент обозначили для Алимджана начало нового, важнейшего биографического и творческого этапа. «Хамид, — вспоминает Уйгун, — приехал в Ташкент следом за мной... Время было скудное: бумаги не было. Мы писали на длинных узких обрезках, которые брали в типографии, но писалось нам хорошо; наверное, поэтому и у меня, и у Хамида навсегда

сохранилось пристрастие к узким, длинным бумажным полоскам».

Х. Алимджан много работает как журналист и редактор в газетах и журналах, а также продолжает свой неустанный литературный труд.

В 30-е годы Алимджан создает большие произведения, навеянные впечатлениями от дастанов, в исполнении бахши¹: «Айгуль и Бахтияр», «Семург».

В 1939 году Хамид Алимджан становится ответственным секретарем Союза писателей Узбекистана и остается на этом посту до своей гибели в 1944 году.

Хамид Алимджан погиб в самом расцвете сил, — тут иначе и не скажешь. Когда внимательно изучаешь его наследие, когда открываются важные или случайные приметы, по которым узнается его личность, начинаешь представлять себе, как много он, должно быть, унес с собою обдуманного, почти готового... Конечно, впереди у него были многие высокие свершения.

А. Наумов

ДЕТСТВО

(Отрывок)

Детьми бы были... Сил запас
Накапливался что ни миг;
Был зорким и пытливым глаз,
А сердце чище, чем родник.

Была еще нежна душа
Той первой, раннею порой;
Мы жили, радостью дыша,
Пленясь каждою игрой.
Кишлачных узких улиц стык,
Домишки по холмам вразброс.

¹ *Бахши* — народный сказитель.

Сады... В садах цветенье роз,
 Журчащий день и ночь арык.
 Тропинки выются, далеки,
 Горят светилен огоньки,
 А мы шумливою гурьбой
 Спешим к воде и ну — нырять,
 Плещась друг с дружкой вперебой,
 Рыбешкам вспугнутым под стать!...

(Перевод Л. Руст)

Вопросы и задания

I. Разберемся в прочитанном

1. Какое впечатление произвело на вас стихотворение «Детство»?
2. Найдите строки, которые раскрывают чистоту и радость детской души.
3. Как описывает Х. Алимджан места, где он вырос? Чем привлекательны эти описания?
4. Подумайте, счастлив ли был поэт в свою детскую пору.

II. Развитие речи

Напишите небольшое сочинение на тему «Самое яркое впечатление моего детства».

ОБНОВЛЕНИЕ

На белогрудых облаках заря
 Развесила пурпурные тюльпаны,
 И вот уж солнца луч, животворя,
 Льет золото на внешние поляны.

<...>

Кусты от роз, как зарево, красны.
 Красны... Опять в тени поют дутары.
 Поют... В великолепии весны
 Всё чаще сердца звонкие удары.

Подходит звездный вечер. Горы спят,
 Покровом мягким зелени укрыты.
 Приволье здесь для тонкорунных стад —
 Травы обилье и воды избыток.

Весна! Чуть рог пастуший приумолк,
 Звенит на пашне песня утром ранним,
 И сердца твоего цветистый шелк
 От маков вновь становится багряным.

Вглядитесь — травы дышат. Что ни час,
 Жизнь обновляется на мирных этих склонах,
 И я весной надеюсь каждый раз
 Вновь молодость свою найти в бутонах.

(Перевод Т. Спендиаровой)

Вопросы и задания

1. Подумайте, какие картины, нарисованные автором в стихотворении, показывают, что поэт описал природу Узбекистана. Какие слова говорят об этом? С каким чувством автор написал стихотворение о весне?

2. Вспомните, какой праздник узбекского народа связан с обновлением природы, души человека.

3. Потренируйтесь в выразительном чтении стихотворения «Обновление». Передайте радостное настроение поэта, восхищение родной природой, надежду на обновление жизни.

4. Подберите из медиа средств информацию на тему «Человек и природа». Подготовьте презентацию «Красота родного края».



*Джеймс
Олдридж
(1918–2015)*

Детские и юношеские годы Дж. Олдридж провел в Австралии. Здесь он родился, вырос, здесь формировалась его личность. Впечатления юношеских лет нашли отклик в его творчестве, особенно в австралийском цикле новелл, проникнутых любовью к простым людям труда, к природе.

С 1938 года, после переезда в Лондон, начинается журналистская деятельность Олдриджа. В годы, предшествующие Второй мировой войне, в творчестве молодого журналиста особенно сильно проявляются антифашистские настроения. Как военный корреспондент Олдридж побывал в Египте, Греции и Северной Африке. Материалы, с которыми пришлось работать Олдриджу, его личные наблюдения и впечатления послужили основой для его дальнейшего творчества.

В послевоенные годы Олдридж создает большие романы «Дипломат», «Охотник», «Герои пустынных горизонтов», «Не хочу, чтобы он умирал» и другие. Через все произведения Олдриджа красной нитью проходит мысль о силе нравственных убеждений в человеке, о росте его духовных сил в жизненных испытаниях, в труде, в поисках своего места в человеческом обществе.

Писатель обнаруживает большое реалистическое мастерство в изображении «поворотного пункта» в сознании и жизни героев. Эта проблема особенно занимает художника. «Я оставляю своих героев в тот момент, когда они начинают

видеть жизнь по-новому и идти по новому пути. Меня всегда интересовал именно этот поворот души...»

И этот «поворот души» писатель глубоко раскрыл в рассказе «Последний дюйм¹».

ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ

1.

Хорошо, если, налетав за двадцать лет не одну тысячу миль, ты и к сорока годам все еще испытываешь удовольствие от полета; хорошо, если еще можешь радоваться тому, как артистически точно посадил машину: чуть-чуть отожмешь ручку, поднимешь легкое облачко пыли и плавно отвоюешь последний дюйм над землей.

<...> Но с полетами на «ДС-3», когда старенькую машину поднимешь, бывало, в воздух в любую погоду и летишь над лесами где попало, было покончено. Работа в Канаде дала ему хорошую закалку, и не удивительно, что заканчивал он свою летную жизнь над пустынями Красного моря, летая на «Фейрчайльде» для нефтеэкспортной компании Тексегипто, у которой были права на разведку нефти по всему египетскому побережью. Он водил «Фейрчайльд» над пустыней до тех пор, пока самолет совсем не износился. Посадочных площадок не было. Он сажал машину везде, где хотелось сойти геологам и гидрологам, — на песок, на кустарник, на каменистое дно пересохших ручьев и на длинные белые отмели Красного моря.

<...> Но все это было в прошлом. Компания Тексегипто отказалась от дорогостоящих попыток найти большое нефтяное месторождение, а «Фейрчайльд» превратился в жалкую развалину и стоял в одном из египетских ангаров...

Все было кончено: ему стукнуло сорок три, жена уехала от него домой на Линнен-стрит в городе Кембридж, штата

¹ Дюйм — английская мера длины, равная 2,54 см.

Массачусетс, и зажила как ей нравилось: ездила на трамвае до Гарвард-сквер, покупала продукты в магазине без продавца, гостила у своего старика в приличном деревянном доме — одним словом, вела приличную жизнь, достойную приличной женщины. Он пообещал приехать к ней еще весной, но знал, что не сделает этого, так же как знал, что не получит в свои годы летной работы, особенно такой, к какой он привык, не получит ее даже в Канаде.

Так он и остался ни с чем, если не считать равнодушной жены, которой он не был нужен, да десятилетнего сына, родившегося слишком поздно и, как понимал в глубине души Бен, чужого им обоим — одинокого, неприкаянного ребенка, который в десять лет чувствовал, что мать им не интересуется, а отец — посторонний человек, резкий и немногословный, не знающий, о чем с ним говорить в те редкие минуты, когда они бывали вместе.

Вот и сейчас было не лучше, чем всегда. Бен взял с собой мальчика на «Остер», который бешено мотало на высоте в две тысячи футов над побережьем Красного моря, и ждал, что мальчишку вот-вот укачает.

— Если тебя стошнит, — сказал Бен, — пригнись пониже к полу, чтобы не запачкать всю кабину.

— Хорошо. — У мальчика был очень несчастный вид.

— Боишься?

Маленький «Остер» безжалостно швыряло в накаленном воздухе из стороны в сторону, но перепуганный мальчишка все же не терялся и, с ожесточением посасывая леденец, разглядывал приборы, компас, прыгающий авиагоризонт.

— Немножко, — ответил мальчик тихим и застенчивым голосом, непохожим на грубоватые голоса американских ребят. — А от этих толчков самолет не сломается?

Бен не умел утешать сына, он сказал правду:

— Если за машиной не следить и не проверять ее все время, она непременно сломается.

Мальчик опустил голову и тихонько заплакал.

Бен пожалел, что взял с собой сына. У них в семье вели-

кодушные порывы всегда кончались неудачей: оба они были такие — сухая, плаксивая, провинциальная мать и резкий, вспыльчивый отец. Во время одного из редких приступов великодушия Бен как-то попробовал поучить мальчика управлять самолетом, и хотя сын оказался очень понятливым и довольно быстро усвоил основные правила, каждый окрик отца доводил его до слез...

— Не плачь! — приказал ему теперь Бен. — Нечего тебе плакать! Подыми голову, слышишь, Дэви! Подыми сейчас же!

Бен знал, что тон у него резкий, и всегда удивлялся сам, почему он не умеет разговаривать с мальчиком. Дэви поднял голову. Он ухватился за доску управления и нагнулся вперед. Внезапный толчок мотнул голову мальчика вниз, но он ее сразу же поднял и стал глядеть поверх опустившегося носа машины на узкую полосу белого песка у залива, похожего на лепешку, кинутую на этот пустынный берег. Отец вел самолет прямо туда.

— А почему ты знаешь, откуда дует ветер? — спросил мальчик.

— По волнам, по облачку, чутьем! — крикнул ему Бен.

Но он уже и сам не знал, чем руководствуется, когда управляет самолетом. Не думая, он знал с точностью до одного фута, где посадит машину. Ему приходилось быть точным: голая полоска песка не давала ни одной лишней пяди, и опуститься на нее мог только очень маленький самолет. Отсюда до ближайшей туземной деревни было сто миль, и вокруг — мертвая пустыня.

— Все дело в том, чтобы правильно рассчитать, — сказал Бен. — Когда выравниваешь самолет, надо, чтобы расстояние до земли было шесть дюймов. Не фут и не три, а ровно шесть дюймов! Если взять выше, то стукнешься при посадке и повредишь самолет. Слишком низко — попадешь на кочку и перевернешься. Все дело в последнем дюйме.

— Видишь! — закричал отец. — Шесть дюймов. Когда он начинает снижаться, я беру ручку на себя. На себя.

Вот! — сказал он, и самолет коснулся земли мягко, как снежинка.

Последний дюйм! Бен сразу же выключил мотор и нажал на ножные тормоза — нос самолета задрался кверху, и машина остановилась у самой воды — до нее оставалось шесть или семь футов.

2.

Два летчика воздушной линии, которые открыли эту бухту, называли ее Акульей — не из-за формы, а из-за ее населения. В ней постоянно водилось множество крупных акул, которые заплывали из Красного моря, гоняясь за косяками сельди и кефали, искавшими здесь убежища. Бен и прилетел-то сюда из-за акул, а теперь, когда попал в бухту, совсем забыл о мальчике и время от времени только давал ему распоряжения: помочь при разгрузке, закопать мешок с продуктами в мокрый песок, смачивать песок, поливая его морской водой, подавать инструменты и всякие мелочи, необходимые для акваланга и камер.

— А сюда кто-нибудь когда-нибудь заходит? — спросил его Дэви.

Бен был слишком занят, чтобы обращать внимание на то, что говорит мальчик, но все же, услышав вопрос, покачал головой:

— Никто! Никто не может сюда попасть иначе, как на легком самолете. Принеси мне два зеленых мешка, которые стоят в машине, и прикрывай голову. Не хватало еще, чтобы ты получил солнечный удар!

Больше вопросов Дэви не задавал. Когда он о чем-нибудь спрашивал отца, голос у него сразу становился угрюмым: он заранее ожидал резкого ответа. Мальчик и не пытался продолжать разговор и молча выполнял, что ему приказывали. Он внимательно наблюдал, как отец готовил акваланг и киноаппарат для подводных съемок, собираясь снимать в прозрачной воде акул.

— Смотри не подходи к воде! — приказал отец.

Дэви ничего не ответил.

— Акулы непременно постараются отхватить от тебя кусок, особенно если подымутся на поверхность, — не смей даже ступить в воду!

Дэви кивнул головой.

Бену хотелось чем-нибудь порадовать мальчика, но за много лет ему это ни разу не удавалось, а теперь, видно, было поздно. Когда ребенок родился, начал ходить, а потом становился подростком, Бен почти постоянно бывал в полетах и подолгу не видел сына. Так было в Колорадо, во Флориде, в Канаде, в Иране, в Бахрейне и здесь, в Египте. Это его жене, Джоанне, следовало постараться, чтобы мальчик рос живым и веселым.

Вначале он пытался привязать к себе мальчика. Но разве добьешься чего-нибудь за короткую неделю, проведенную дома, и разве можно назвать домом чужеземный поселок в Аравии, который Джоанна ненавидела и всякий раз поминала только для того, чтобы потосковать о росистых летних вечерах, ясных морозных зимах и тихих университетских улочках родной Новой Англии? <...> Но апатия должна теперь пройти, раз она вернулась домой. Он отвезет к ней мальчонку, и, раз она живет, наконец, там, где ей хочется, Джоанне, может быть, удастся хоть немного заинтересоваться ребенком. Пока что она не проявляла этого интереса, а с тех пор, как она уехала домой, прошло уже три месяца.

— Затяни этот ремень у меня между ногами, — сказал он Дэви.

На спине у него был тяжелый акваланг. Два баллона со сжатым воздухом весом в двадцать килограммов позволят ему пробыть больше часа на глубине в тридцать футов. Глубже опускаться и незачем. Акулы этого не делают.

— И не кидай в воду камни, — сказал отец, поднимая цилиндрический, водонепроницаемый футляр киноаппарата

и стирая песок с рукоятки. — Не то всех рыб поблизости распугаешь. Даже акул. Дай мне маску.

Дэви передал ему маску с защитным стеклом.

— Я пробуду под водой минут двадцать. Потом поднимусь, и мы позавтракаем, потому что солнце уже высоко. Ты пока что обложи камнями оба колеса и посиди под крылом, в тени. Понял?

— Да, — сказал Дэви.

Бен вдруг почувствовал, что разговаривает с мальчиком так, как разговаривал с женой, чье равнодушие всегда вызывало его на резкий, повелительный тон. Ничего удивительного, что бедный парнишка сторонится их обоих.

— И обо мне не беспокойся! — приказал он мальчику, входя в воду. Взяв в рот трубку, он скрылся под водой, опустив киноаппарат, чтобы груз тянул его на дно.

Дэви смотрел на море, которое поглотило его отца, словно мог что-нибудь разглядеть. Но ничего не было видно — только изредка на поверхности появлялись пузырьки воздуха.
<...>

Дэви чувствовал свободу. Кругом на целых сто миль не было ни души, и он мог посидеть в самолете и как следует все разглядеть. Но запах бензина снова вызвал у него дурноту, он вылез и облил водой песок, где лежала еда, а потом уселся у берега и стал глядеть, не покажутся ли акулы, которых снимает отец.

Акул было много, но они держались на расстоянии. Они никогда не приближались настолько, чтобы можно было как следует поймать их в кадр. Придется приманивать их поближе после обеда. Для этого Бен взял в самолет половину лошадиной ноги; он обернул ее в целлофан и закопал в песок.

— На этот раз, — сказал он себе, шумно выпуская пузырьки воздуха, — я уж наснимаю их не меньше чем на три тысячи долларов.

Телевизионная компания платила ему по тысяче долларов за каждые пятьсот метров фильма об акулах и тысячу дол-

ларов отдельно за съемку рыбы-молота. Бен знал, что сейчас он слишком деятелен, чтобы привлечь к себе акул, но его интересовал большой орляк, который жил под выступом кораллового рифа: за него тоже платили пятьсот долларов. Им нужен был кадр с орляком на подходящем фоне. Кишащий тысячами рыб, подводный коралловый мир был хорошим фоном, а сам орляк лежал в своей коралловой пещере.

— Ага, ты еще здесь! — сказал Бен тихонько.

Длиною рыба была в четыре фута, а весила один бог знает сколько; она поглядывала на него из своего убежища, как и в прошлый раз — неделю назад. Жила она тут, наверно, не меньше ста лет. Шлепнув у нее перед мордой лапами, Бен заставил ее попятиться и сделал хороший кадр, когда рассерженная рыба неторопливо пошла вниз, на дно.

Пока что это было все, чего он добивался. Бен неуклюже попятился на узкий, поднимавшийся из моря выступ рифа, перевернулся и преодолел последний дюйм до безопасного места.

— Мне эта дрянь совсем не нравится! — сказал он вслух, выплюнув сначала воду.

И только тут заметил, что над ним стоит мальчик. Он совсем забыл о его существовании и не потрудился объяснить, к кому относятся эти слова.

— Доставай из песка завтрак и приготовь его на брезенте под крылом, где тень. Кинь-ка мне большое полотенце.

Пока они молча ели, Бен перемотал пленку французского киноаппарата, и починил клапан акваланга. Откупоривая бутылку пива, он снова вспомнил о мальчике.

— У тебя есть что-нибудь попить?

— Нет,— неохотно ответил Дэви.— Воды нет...

Бен и тут не подумал о сыне. Как всегда, он прихватил с собой из Каира дюжину бутылок пива: оно было чище и безопаснее для желудка, чем вода. Но надо было взять что-нибудь и для мальчика. <...>

Мельком взглянув на Дэви и удостоверившись, что он не болен и сидит в тени, Бен быстро заснул.

3.

— А кто-нибудь знает, что мы здесь? — спросил Дэви вспотевшего во время сна отца, когда тот снова собирался опуститься под воду.

— Почему ты спрашиваешь?

— Не знаю. Просто так.

— Никто не знает, что мы здесь, — сказал Бен. — Мы получили от египтян разрешение лететь в Хургаду; они не знают, что мы залетели так далеко. И не должны знать. Ты это запомни.

— А нас могут найти?

Бен подумал, что мальчик боится, как бы их не изобличили в чем-нибудь недозволительном. Ребятишки всегда боятся, что их поймают с поличным.

— Нет, пограничники нас не найдут. С самолета они вряд ли заметят нашу машину. А по сути никто сюда попасть не может, даже на «виллисе». — Он показал на море. — И оттуда никто не придет, там рифы...

— Неужели никто-никто о нас и не знает? — тревожно спросил мальчик.

— Я же говорю, что нет! — с раздражением ответил отец. Но вдруг понял, хотя и поздно, что Дэви беспокоит не возможность попасться, он просто боится остаться один.

— Ты не бойся, — проговорил Бен грубовато. — Ничего с тобой не случится.

— Поднимается ветер, — сказал Дэви как всегда тихо и слишком серьезно.

— Знаю. Я пробуду под водой всего полчаса. Потом поднимусь, заряджу новую пленку и опущусь еще минут на десять. Найди, чем бы тебе покуда заняться. Напрасно ты не взял с собой удочки.

<...>

В серебристом пространстве, там, где кораллы сменялись песком, их было уже пятеро. Он был прав. Акулы пришли сразу же, учуяв запах крови. Бен замер, а когда выдыхал

воздух, то прижимал клапан к кораллу за своей спиной, чтобы пузырьки воздуха лопались и не спугнули акул.

— Подходите! Поближе! — тихонько подзадоривал он рыб.

Но им и не требовалось приглашения.

Они кинулись прямо на кусок конины. Впереди шла знакомая пятнистая «кошка», а за ней две или три акулы той же породы, но поменьше. Они не плыли и даже не двигали плавниками, они неслись вперед, как серые струящиеся ракеты. Приблизившись к мясу, акулы слегка свернули в сторону, на ходу отрывая куски.

Он заснял на пленку все: приближение акул к цели; какую-то деревянную манеру разевать пасть, словно у них болели зубы; жадный, пакостный укус — самое отвратительное зрелище, какое он видел в своей жизни.

— Ах вы гады! — сказал он, не разжимая губ. Как и всякий подводник, он их ненавидел и очень боялся, но не мог ими не любоваться.

Они пришли снова, хотя пленка была уже почти вся отснята. Значит, ему придется подняться на сушу, перезарядить кинокамеру и поскорее вернуться назад. Бен взглянул на камеру и убедился, что пленка кончилась. Подняв глаза, он увидел, что враждебно настороженная акула-кошка плывет прямо на него.

— Пошла! Пошла! Пошла! — заорал Бен в трубку.

«Кошка» на ходу слегка повернулась на бок, и Бен понял, что сейчас она бросится в атаку. Только в это мгновение он заметил, что руки и грудь у него измазаны кровью от куска конины. Бен проклял свою глупость. Но ни времени, ни смысла упрекать себя уже не было, и он стал отбиваться от акулы киноаппаратом.

У «кошки» был выигрыш во времени, и камера ее едва задела. Боковые резцы с размаху схватили правую руку Бена, чуть было не задели грудь и прошли сквозь другую его руку, как бритва. От страха и боли он стал размахивать

руками; кровь его сразу же замутила воду, но он уже ничего не видел и только чувствовал, что акула сейчас нападет снова. Отбиваясь ногами и пятясь назад, Бен почувствовал, как его резануло по ногам: делая судорожные движения, он запутался в ветвистых коралловых зарослях. Бен держал дыхательную трубку правой рукой, боясь ее выронить. И в тот миг, когда он увидел, что на него кинулась одна из акул помельче, он ударил ее ногами и перекувыркнулся назад.

Бен стукнулся спиной о надводный край рифа, кое-как выкатился из воды и, обливаясь кровью, рухнул на песок.

Когда Бен пришел в себя, он сразу вспомнил, что с ним случилось, хотя и не понимал, долго ли был без сознания и что произошло потом, — все теперь, казалось, было уже не в его власти.

— Дэви! — закричал он.

Откуда-то сверху послышался приглушенный голос сына, но глаза Бена застилала мгла — он знал, что шок еще не прошел. Но вот он увидел ребенка, его полное ужаса, склоненное над ним лицо и понял, что был без сознания всего несколько мгновений. Он едва мог шевельнуться.

— Что мне делать? — кричал Дэви. — Видишь, что с тобой случилось!

— Дэви, — еле выговорил Бен, не открывая глаз. — Что у меня с ногами?

— У тебя руки... — услышал он невнятный голос Дэви, — руки все изрезаны, просто ужас!

— Знаю, — зло сказал Бен, не разжимая зубов. — А что у меня с ногами?

— Все в крови, изрезаны тоже...

— Сильно?

— Да, но не так, как руки. Что мне делать?

Тогда Бен поглядел на руки и увидел, что правая почти оторвана совсем; он увидел мускулы, сухожилия, крови почти не было. Левая была похожа на кусок жеваного мяса и

сильно кровоточила; он согнул ее, подтянул кисть к плечу, чтобы остановить кровь, и застонал от боли.

Он знал, что дела его совсем плохи.

Но тут же понял, что надо что-то сделать: если он умрет, мальчик останется один, а об этом страшно даже подумать. Это еще хуже, чем его собственное состояние. Мальчика не найдут вовремя в этом выжженном начисто краю, если его вообще найдут.

— Дэви, — сказал он настойчиво, с трудом пытаясь сосредоточиться, — послушай. Возьми мою рубашку, разорви ее и перевяжи мне правую руку. Слышишь?

— Да.

— Крепко перевяжи мне левую руку над ранами, чтобы остановить кровь. Потом как-нибудь привяжи кисть к плечу. Так крепко, как сможешь. Понял? Перевяжи мне обе руки.

— Понял.

— Перевяжи крепко-накрепко. Сначала правую руку и закрой рану. Понял? Ты понял...

Бен не слышал ответа, потому что снова потерял сознание; на этот раз беспомощность продолжалось дольше, и он пришел в себя, когда мальчик возился с его левой рукой; напряженное, бледное лицо сына было искажено ужасом, но он с мужеством отчаяния старался выполнить свою задачу.

— Это ты, Дэви? — спросил Бен и услышал сам, как неразборчиво произносит слова. — Послушай, мальчик, — продолжал он с усилием. — Я тебе должен сказать все сразу, на случай, если опять потеряю сознание. Перебинтуй мне руки, чтобы я не потерял слишком много крови. Приведи в порядок ноги и стащи с меня акваланг. Он меня душит.

— Я старался его стащить, — сказал Дэви упавшим голосом. — Да не могу, не знаю как.

— Надо стащить, ясно? — прикрикнул Бен как обычно, но тут же понял, что единственная надежда спастись и мальчику и ему — это заставить Дэви самостоятельно думать,

уверенно делать то, что он должен сделать. Надо как-то внушить это мальчику.

— Я тебе скажу, сынок, а ты постарайся понять. Слышишь? — Бен едва слышал себя сам и на секунду даже забыл о боли. — Тебе, бедняга, придется все делать самому, так уж получилось. Не расстраивайся, если я на тебя закричу. Тут уж не до обид. Не надо обращать на это внимание, понял?

— Да. — Дэви перевязывал левую руку и не слушал его.

— Молодчина! — Бену хотелось подбодрить ребенка, но ему это не слишком-то удалось. Он еще не знал, как найти подход к мальчику, но понимал, что это необходимо. Десятилетнему ребенку предстояло выполнить дело нечеловеческой трудности. Если он хочет выжить. Но все должно идти по порядку...

— Достань у меня из-за пояса нож, — сказал Бен, — и перережь все ремешки акваланга. — Сам он не успел пустить в ход нож. — Пользуйся тонкой пилкой, так будет быстрее. Не порежься.

— Хорошо, — сказал Дэви, вставая. Он поглядел на свои вымазанные в крови руки и позеленел. — Если ты сможешь хоть немножко поднять голову, я стащу один из ремней, я его растегнул.

— Ладно. Постараюсь.

Бен приподнял голову и удивился, как трудно ему даже шевельнуться. Попытка двинуть шеей снова довела его до обморока; на этот раз он провалился в черную бездну мучительной боли, которая, казалось, никогда не кончится. Он медленно пришел в себя и почувствовал какое-то облегчение.

— Это ты, Дэви?.. — спросил он откуда-то издалека.

— Я снял с тебя акваланг, — услышал он дрожащий голос мальчика. — Но у тебя по ногам все еще течет кровь.

— Не обращай внимания на ноги, — сказал Бен, отрывая глаза.

Худшее было впереди, и ему надо было все обдумать.

4.

Единственной надеждой спасти мальчика был самолет, и Дэви придется его вести. Не было ни другой надежды, ни другого выхода. Но прежде надо обо всем как следует поразмыслить. Мальчика нельзя пугать. Если Дэви сказать, что ему придется вести самолет, он придет в ужас. Он пристально посмотрел на сына и вспомнил, что уже давно как следует на него не глядел.

«Он, кажется, парень развитой», — подумал Бен, удивляясь странному ходу своих мыслей. Этот мальчик с серьезным лицом был чем-то похож на него самого: за детскими чертами скрывался, быть может, жесткий и даже необузданный характер. Но бледное, немного скуластое лицо выглядело сейчас несчастным, а когда Дэви заметил пристальный взгляд отца, он отвернулся и заплакал.

— Ничего, малыш, — произнес Бен с трудом. — Теперь уже ничего!

— Ты умрешь? — спросил Дэви.

— Разве я так уж плох? — спросил Бен, не подумав.

— Да, — ответил Дэви сквозь слезы.

Бен понял, что сделал ошибку, нужно говорить с мальчиком, обдумывая каждое слово.

— Я шучу, — сказал он. — Это ничего, что из меня хлещет кровь. Твой старик не раз бывал в таких переделках. Ты разве не помнишь, как я попал тогда в больницу в Саскатуне?

Дэви кивнул.

— Помню, но тогда ты был в больнице...

— Конечно, конечно. Верно. — Он упорно думал о своем, силясь не потерять снова сознание. — Знаешь, что мы с тобой сделаем? Возьми большое полотенце и расстели его возле меня, я перевалюсь на него, и мы кое-как доберемся до самолета. Идет?

— Я не смогу втащить тебя в машину, — сказал мальчик. В голосе его звучало уныние.

— Эх! — сказал Бен, стараясь говорить как можно мягче, хотя это было для него пыткой. — Никогда не знаешь, на что ты способен, пока не попробуешь. Тебе, наверно, пить хочется, а воды-то и нет, а?

— Нет, я не хочу пить...

Дэви пошел за полотенцем, а Бен сказал ему все тем же тоном:

— В следующий раз мы захватим дюжину кока-колы. И лед.

Дэви расстелил возле него полотенце; Бен дернулся на бок, ему показалось, что у него разорвались на части руки, и грудь, и ноги, но ему удалось лечь на полотенце спиной, упершись пятками в песок, и сознания он не потерял.

— Теперь тащи меня к самолету, — едва слышно проговорил Бен. — Ты тяни, а я буду отталкиваться пятками. На толчки не обращай внимания, главное — поскорее добраться!

— Как же ты поведешь самолет? — спросил его сверху Дэви.

Бен закрыл глаза: он хотел представить себе, что переживает сейчас сын. «Мальчик не должен знать, что машину придется вести ему, — он перепугается насмерть».

— Этот маленький «Остер» летает сам, — сказал он. — Стоит только положить его на курс, а это нетрудно.

— Но ты же не можешь двинуть рукой. Да и глаз совсем не открываешь.

— А ты об этом не думай. Я могу лететь вслепую, а управлять коленями. Давай двигаться. Ну, тащи.

Он поглядел на небо и заметил, что становится поздно и поднимается ветер; это поможет самолету взлететь, если, конечно, они сумеют вырулить против ветра.

Долго взбирались они по склону; Дэви тащил, а Бен отталкивался пятками, поминутно теряя сознание и медленно приходя в себя.

— Как дела? — спросил он мальчика. Тот задыхался, изнемогая от напряжения. — Ты, видно совсем измучился.

— Нет! — крикнул Дэви с яростью. — Я не устал.

— Теперь, — сказал он, с трудом ворочая пересохшим языком, — надо навалить камней у дверцы самолета. — Передохнув, он продолжал: — Если навалить их повыше, ты как-нибудь сумеешь втолкнуть меня в кабину. Возьми камни из-под колес.

Дэви сразу принялся за дело, он стал складывать обломки кораллов у левой дверцы, — со стороны сиденья пилота.

— Не у этой дверцы, — осторожно сказал Бен. — У другой. Если я полезу с этой стороны, мне мешает рулевое управление.

— В жизни можно сделать все что угодно, Дэви, — произнес он слабым голосом, — если только не надорвешься. Не надрывайся...

Он не помнил, чтобы давал раньше сыну такие советы.

— Но ведь скоро стемнеет, — сказал Дэви, кончив складывать камни.

— Мы не можем лететь, — сказал мальчик. — Ты не сможешь вести самолет. Лучше и не пытаться.

— Ах! — сказал Бен с той нарочитой мягкостью, от которой ему становилось еще грустнее. — Ветер сам отнесет нас домой.

— Обвяжи мне грудь полотенцем, лезь в самолет и тащи, а я буду отталкиваться ногами.

Эх, если бы он мог двигать ногами! Верно, что-нибудь случилось с позвоночником; он уже почти не сомневался, что в конце концов все-таки умрет. Важно было протянуть до Каира и показать мальчику, как посадить самолет.

И эта надежда помогла ему забраться в самолет; он вполз в машину, согнувшись пополам, теряя сознание. Потом он попытался сказать мальчику, что надо делать, но не смог произнести ни слова. Мальчика охватил страх. Повернув к нему голову, Бен это почувствовал и сделал еще одно усилие.

— Ты не видел, я вытащил из воды киноаппарат? Или оставил его в море?

— Он внизу, у самой воды.

— Ступай принеси его. И маленькую сумку с пленкой. — Тут он вспомнил, что спрятал заснятую пленку в самолет, чтобы уберечь ее от солнца. — Пленки, не надо. Возьми только аппарат.

Просьба звучала буднично и должна была успокоить перепуганного мальчика; Бен почувствовал, как накренился самолет, когда Дэви, спрыгнув на землю, побежал за аппаратом. Он снова подождал, на этот раз уже дольше, чтобы к нему полностью вернулось сознание. Надо было вникнуть в психологию этого бледного, молчаливого, настороженного и слишком послушного мальчика. Ах, если бы он знал его получше!..

Бен не помнил, когда он плакал, но теперь вдруг почувствовал на глазах беспричинные слезы. Нет, он не намерен сдаваться. Ни за что!..

— Расклеился твой старик, а? — сказал Бен и даже почувствовал легкое удовольствие от такой откровенности. Дело шло на лад. Он нащупывал путь к сердцу мальчика. — Теперь слушай...

Он снова ушел далеко, далеко, а потом вернулся.

— Придется тебе взяться за дело самому, Дэви. Ничего не поделаешь. Слушай. Колеса свободны?

— Да, я убрал все камни.

Дэви сидел, стиснув зубы.

— Что это нас потряхивает?

— Ветер.

О ветре он совсем забыл.

— Вот что надо сделать, Дэви, — сказал он медленно. — Передвинь рычаг газа на дюйм, не больше. Сразу. Сейчас. Поставь всю ступню на педаль. Хорошо. Молодец! Теперь поверни черный выключатель около меня. Отлично. Теперь нажми вон ту кнопку, а когда мотор заработает, по-

двинь рычаг газа еще немного. Стой! Поставь ногу на левую педаль. Когда мотор заработает, дай полный газ и разверни против ветра. Слышишь?

— Это я могу, — сказал мальчик, и Бену показалось, что он услышал в голосе сына резкую нотку нетерпения, чем-то напоминавшую его собственный голос.

— Здорово дует ветер, — добавил мальчик. — Слишком сильно, мне это не нравится.

— Когда будешь выруливать против ветра, отдай вперед ручку. Начинай! Запускай мотор.

Он почувствовал, что Дэви перегнулся через него и включил стартер, и услышал, как чихнул мотор. Только бы он не слишком резко передвинул ручку, пока мотор не заработает! «Сделал! Ей-богу, сделал!» — подумал Бен, когда мотор заработал. Он кивнул, и от напряжения ему сразу же стало плохо. Бен понял, что мальчик дает газ и пытается развернуть самолет. А потом его всего словно поглотил какой-то мучительный шум; он почувствовал толчки, попробовал поднять руки, но не смог и пришел в себя от слишком сильного рева мотора.

— Сбавь газ! — закричал он как можно громче.

— Ладно! Но ветер не дает мне развернуться.

— Мы встали против ветра? Ты повернул против ветра?

— Да, но ветер нас опрокинет.

Он чувствовал, как самолет раскачивает во все стороны, попытался выглянуть, но поле его зрения было так мало, что ему приходилось целиком полагаться на мальчика.

— Отпусти тормоз, — сказал Бен. Об этом он забыл.

— Готово! — откликнулся Дэви. — Я его отпустил.

— Ну да, отпустил! Разве я не вижу? Старый дурак... — выругал себя Бен.

Тут он вспомнил, что из-за шума мотора его не слышно и надо кричать.

— Слушай дальше! Это совсем просто. Тяни ручку на себя и держи ее посередине. Если машина будет подсаки-

вать, ничего. Понял? Замедли ход. И держи прямо. Держи ее против ветра, не бери ручку на себя, пока я не скажу. Действуй. Не бойся ветра...

Мальчик послушно держал ручку и не дергал ее к себе; они с трудом перевалили через дюны, и Бен понял, что от мальчика потребовалось немало мужества, чтобы от страха не рвануть ручку. Резкий порыв ветра уверенно подхватил самолет, но затем он провалился в яму, и Бену стало мучительно плохо.

Его привели в себя перебои мотора. Было тихо, ветра больше не было, он остался где-то внизу, но Бен слышал, как тяжело дышит и вот-вот сдаст мотор.

— Что-то случилось! — кричал Дэви. — Слушай, очнись! Что случилось?

— Подними рычаг смеси.

Дэви не понял, что нужно сделать, а Бен не сумел этого вовремя показать.

— Куда лететь? — снова спросил Дэви. — Почему ты мне не говоришь, куда лететь?!

При таком неверном ветре не могло быть прямого курса, несмотря на то, что тут, наверху, было относительно спокойно. Оставалось держаться берега до самого Суэца.

— Иди вдоль берега. Держись от него справа. Ты его видишь?

— Вижу. А это верный путь?

— По компасу курс должен быть около трехсот двадцати! — крикнул он; казалось, голос его был слишком слаб, чтобы Дэви мог услышать, но он услышал.

«Хороший парень! — подумал Бен. — Он все слышит».

Итак, Дэви все-таки запомнил, что нужно выровнять самолет, держать нужные обороты мотора и скорость! Он это запомнил. Славный парень! Он долетит. Он справится! Бен видел резко очерченный профиль Дэви, его бледное лицо с темными глазами, в которых ему так трудно было что-либо прочитать. Отец снова взгляделся в это лицо. <...>

«Но он справится», — устало и примирительно подумал Бен.

Теряя сознание, он повернул голову к дверце.

5.

Оставшись один на высоте в три тысячи футов, Дэви решил, что уже никогда больше не сможет плакать. У него на всю жизнь высохли слезы.

Только однажды за свои десять лет он похвастался, что отец его летчик. Но он помнил все, что отец рассказывал ему об этом самолете, и догадывался о многом, чего отец не говорил.

Здесь, на высоте, было тихо и светло. Море казалось совсем зеленым, а пустыня — грязной; ветер поднял над ней пелену пыли. Впереди горизонт уже не был таким прозрачным; пыль поднималась все выше, но он все еще не терял из виду море. В картах Дэви разбирался. Это было несложно. Он знал, где лежит их карта, вытащил ее из сумки на дверце и задумался о том, что он будет делать, когда полетит к Суэцу.

Ему не нравилось, что самолет летит так высоко. От этого замирало сердце, да и самолет шел слишком медленно. Но Дэви боялся снизить и снова попасть в ветер, когда дойдет до посадки. Он не знал, как ему быть. <...>

Может быть, отец уже умер? Он оглянулся и увидел, что тот дышит порывисто и редко. Слезы, которые, как думал Дэви, все уже высохли, снова наполнили его темные глаза, и он почувствовал, как они текут по щекам. Слизнув их языком, он стал следить за морем.

Бену казалось, что от толчков его тело пронзают и разрывают на части ледяные стрелы, во рту пересохло, он медленно приходил в себя. Взглянув вверх, он увидел пыль, а над ней тусклое небо.

— Дэви! Что случилось? Что ты делаешь? — закричал он сердито.

— Мы почти прилетели, — сказал Дэви. — Но ветер поднялся выше и уже темнеет.

— Что ты видишь? — закричал он.

— Аэродромы и здания Каира. Вон большой аэродром, куда приходят пассажирские самолеты.

— Не теряй из виду аэродром! — крикнул Бен сквозь приступ боли. — Следи за ним! Не спускай с него глаз.

— Самолет не хочет идти вниз, — сказал Дэви; глаза его расширились и, казалось, занимали теперь все лицо.

— Выключи мотор.

— Выключал, но ничего не получается. Не могу опустить ручку.

— Потяни рукоятку триммера, — сказал Бен, подняв голову кверху, где была рукоятка. Он вспомнил и о щитках, но мальчику ни за что не удастся их выпустить, придется обойтись без них.

Дэви пришлось привстать, чтобы дотянуться до рукоятки на колесе и сдвинуть ее вперед. Нос самолета опустился, и машина перешла в пике.

— Выключи мотор! — крикнул Бен.

Дэви убрал газ, и ветер стал с силой подбрасывать планирующий самолет вверх и вниз.

— Следи за аэродромом, делай над ним круг, — сказал Бен и стал собирать все силы для этого последнего усилия, которое ему предстояло.

Наступала решающая минута. Поднять самолет в воздух и вести его не так трудно, посадить же на землю — вот задача!

— Там большие самолеты, — кричал Дэви. — Один, кажется, стартует...

— Берегись, сверни в сторону! — крикнул Бен.

Это был довольно никчемный совет, но зато дюйм за дюймом Бен приподнимался; ему помогало то, что нос самолета был опущен. Привалившись к дрожащей дверце и упираясь в нее плечом и головой, он упорно, из последних сил, карабкался вверх. Наконец голова его очутилась так высоко, что

он смог упереться ею в доску с приборами. Он приподнял насколько смог голову и увидел, как приближается земля.

— Молодец! — кричал он сыну.

Бен дрожал и обливался потом, он чувствовал, что из всего его тела осталась в живых только голова. Рук и ног больше не было.

— Левей! — кричал он. — Дай вперед ручку! Нагни ее влево! Гни больше влево! Гни еще! Хорошо! Все в порядке, Дэви. Ты справишься. Влево! Жми ручку вниз...

— Я врежусь в самолет.

Бену был виден большой самолет. До самолета было не больше пятисот футов, и они шли прямо на него. Уже почти стемнело.

Оставалась минута до посадки.

— Шесть дюймов! — кричал он Дэви; язык его словно распух от напряжения и боли, а из глаз текли горячие слезы. — Шесть дюймов, Дэви!.. Стой! Еще рано. Еще рано... — плакал он.

На последнем дюйме, отделявшем их от земли, он все-таки потерял самообладание; им завладел страх, им завладела смерть, и он не мог больше ни говорить, ни кричать, ни плакать; он привалился к доске; в глазах его был страх за себя, страх перед этим последним головокружительным падением на землю, когда черная взлетная дорожка надвигается на тебя в облаке пыли. Но вот хвост и колеса коснулись земли — это был последний дюйм. Ветер закружил самолет, он забуксовал и описал на земле круг, а потом замер, и наступила тишина.

Ах, какая тишина и какой покой! Он слышал их, чувствовал всем своим существом; он вдруг понял, что выживет, — он так боялся умереть и совсем не хотел сдаваться.

В жизни не раз наступают решающие минуты и остаются решающие дюймы, а в истерзанном теле летчика нашлись решающие все дело кости и кровеносные сосуды, о которых люди и не подозревали. Когда кажется, что все уже кончено, они берут свое. Египетские врачи с удивлением обнаружили,

что у Бена их неисчерпаемый запас, а способность восстанавливать разорванные ткани, казалось, была дана летчику самой природой.

— Все дело в адреналине, — раскатисто хохотал кудрявый врач-египтянин, — а вы его вырабатываете, как атомную энергию!

Казалось, все было хорошо, но Бен все-таки потерял левую руку. («Странно, — думал он, — я бы мог поклясться, что больше досталось правой руке»). Потрясение превратило Бена в неподвижный и очень хрупкий обломок — поправка не могла идти быстро. Но все-таки дело шло на лад.

Однако, помимо всего, был еще мальчик.

— Он жив и здоров, — сказал врач. — Не получил даже шока.

Когда привели Дэви, Бен увидел, что это был тот же самый ребенок, с тем же самым лицом, которое он так недавно впервые разглядел. Но дело было совсем не в том, что разглядел Бен: важно было узнать, сумел ли мальчик что-нибудь увидеть в своем отце.

— Ну, как, Дэви? — робко сказал он сыну. — Здорово было, а?

Дэви кивнул. Бен знал: мальчуган вовсе не думает, что было здорово, но придет время, и он поймет. Когда-нибудь мальчик поймет, как было здорово. К этому стоило приложить руки.

— Расклеился твой старик, правда? — спросил он.

Дэви кивнул. Лицо его было по-прежнему серьезно.

Бен улыбнулся. Да что уж греха таить, старик и в самом деле расклеился. Им обоим нужно время. Ему, Бену, теперь понадобится вся жизнь, вся жизнь, которую подарил ему мальчик. Но, глядя в эти темные глаза, на слегка выдающиеся вперед зубы, на это лицо, столь необычное для американца, Бен решил, что игра стоит свеч. Этому стоит отдать время. Он уж доберется до самого сердца мальчишки! Рано или поздно, но он до него доберется. Последний дюйм, который разделяет всех и вся, нелегко преодолеть,

если не быть мастером своего дела. Но быть мастером своего дела — обязанность летчика, а ведь Бен был когда-то совсем неплохим летчиком.

Вопросы и задания

I. Разберемся в прочитанном

1. Где происходят события, описанные в рассказе?
2. Чем вынужден был заниматься летчик Бен, оставшись без работы?
3. Какие отношения были между Беном и сыном до несчастного случая с отцом?
4. Почему акулы напали на Бена?
5. Что помогло мальчику посадить самолет?

II. Порассуждаем над рассказом

1. Чем можно объяснить, что отец был груб с сыном и невнимателен к нему?

2. Когда произошел «перелом» в их отношениях? Как вы можете объяснить авторские размышления: «Надо было ощупью найти дорогу к объятому страхом, незрелому сознанию ребенка. Он пристально посмотрел на сына и вспомнил, что уже давно как следует на него не глядел»; «Он, кажется, парень развитой», — подумал Бен, удивляясь странному ходу своих мыслей...»

3. Какие детали доказывают, что Дэви был очень смысленный, самостоятельный мальчик, с упрямым и твердым характером?

4. Сравните свои впечатления о мальчике: каким он показался вам в начале рассказа, и как он повел себя, оказавшись в страшной, казалось бы, безвыходной ситуации.

СОДЕРЖАНИЕ

Л. Н. Толстой	3
Детство	4
А. П. Чехов	23
Толстый и тонкий	25
Хирургия	29
В. Г. Короленко	34
Дети подземелья	36
Литература XX века	69
А. П. Платонов	69
Цветок на земле	71
В. Г. Распутин	77
Уроки французского	78
В. П. Астафьев	100
Конь с розовой гривой	101
Г. Гулям	117
Озорник	118
Диалог в художественном произведении	129
Х. Алимджан	130
Детство	131
Обновление	132
Дж. Олдридж	134
Последний дюйм	135

Сведения о состоянии учебника, выданного в аренду

№	Имя и фамилия ученика	Учебный год	Состояние учебника при получении	Подпись классного руководителя	Состояние учебника при сдаче	Подпись классного руководителя
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

При выдаче учебника в аренду и сдаче его в конце учебного года классным руководителем заполняется приведенная выше таблица в соответствии со следующими критериями

Новый	Состояние учебника перед поступлением в аренду.
Хороший	Обложка целая, не оторвана от основной части книги. Все страницы имеются, целые, не порваны, не отклеены, на страницах нет надписей и линий.
Удовлетворительный	Обложка измята, исчерчена, края обтрепаны, отделена частично от основной части книги и отреставрирована пользователем. Реставрирование удовлетворительное. Вырванные страницы подклеены, некоторые страницы исчерчены.
Неудовлетворительный	Обложка исчерчена, разорвана и полностью или частично оторвана от основной части книги, отреставрирована удовлетворительно. Страницы порваны, отсутствуют некоторые страницы, разукрашены, испачканы, восстановление невозможно.

O'quv nashri

STIRKAS INNA NIKOLAYEVNA,
ABDULLAYEVA GUZAL SHAPULATOVNA,
TUMPAROV RADIK RAVILYEVICH

ADABIYOT

II qism

Ta'lim rus tilida olib boriladigan
umumiy o'rta ta'lim maktablarining
6-sinfi uchun darslik-xrestomatiya

Qayta ishlangan beshinchi nashri

Ташкент
Главная редакция
издательско-полиграфической
акционерной компании «Sharq»
2017

Редактор *Ибрагимова Д.*
Художественный редактор *Гайратов С.*
Технический редактор *Бабаханова Р.*
Компьютерная верстка *Юлдашева Э.*
Корректор *Корчуганова О.*

Лицензия издания АИ № 201, 28.08.2011 год.

Подписано в печать 18.04.2017. Формат 70х90 ¹/₁₆. Печать офсетная.
Гарнитура Школьная. Кегль 12 н/шп. Усл. п. л. 10,0.
Уч.-изд. л. 10,82. Тираж 5315 экз. Заказ № 17-246-А.

Оригинал-макет подготовлен Главной редакцией ИПАК «Sharq»

**Издательско-полиграфический творческий дом «Узбекистан»
Узбекского агентства по печати и информации.
100129, г. Ташкент, ул. Навои, 30.**